

ОЛЕСЬ БУЗИНА

ВУРДАЛАК

ТАРАС ШЕВЧЕНКО



СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие

Берия в президиуме шевченковского юбилея

Кровавая библия

Хуторской философ

В объятьях фортуны

В лапах зеленого змия

Привилегированный солдат

«Не каюсь?» Еще и как каялся!

В когтях крепостных помпадурш

Запорожский миф

Имперский гимн Котляревского

Скандалные воспоминания о Т. Г. Шевченко его современников

«Кобзарь» за счет крепостника

(Эпизоды из жизни Шевченко по воспоминаниям Петра Мартоса)

Стукач-самовольщик против доносчика-законника

(Из воспоминаний Ф. М. Лазаревского о Шевченко)

Как Тарас выпил две бутылки водки и как его «хоронили»

(На Сырдарье у ротного командира)

Сто пельменей

(Воспоминания Н. И. Усковой о Т. Г. Шевченко)

Шевченко жил, Шевченко жив, Шевченко будет жить! Но в анекдотах от Бузины...

Один день Тараса Григорьевича

Как Шевченко Лесю Украинку к Ивану Франко ревновал

Почему Шевченко не мог унизиться до антисемитизма

Наконец-то!.. (Вместо послесловия) (Александр Белодед - д.ф.н., профессор)

Олесь Бузина Вурдалак Тарас Шевченко

«Я от природы вышел какой-то неконченный».
(Тарас Шевченко)

Если представить фантастическую картину, что писатели золотого XIX века вдруг воскресли и собрались на Украине сегодня в одном из чудом уцелевших дворянских гнезд, то картина эта выглядела бы так.

Вечер. Сверкающие полукруглые окна бального зала. Сияющий медовым блеском паркет. Черные фраки. Блестящие конногвардейские мундиры. Ордена. Бриллианты. Женские плечи. Приглушенный смех.

Вот прошел со своей дамой гусарский поручик Лермонтов, шепча ей на ухо какие-то непристойности. Вот зло жрет мороженое в углу Пушкин, недовольный тем, что ему дали только камер-юнкера, а не камергера. Вот Толстой проповедует о непротивлении злу насилием, втайне поджидая минуту, когда можно будет удрать на тройке к цыганам...

Гоголь беседует о богословских тонкостях с заезжим католическим аббатом. Подсчитывает в уме издательские барыши Некрасов, вычитая из них то, что уйдет на содержание очередной любовницы.

Нервничает вечный должник Достоевский.

И только один разночинец в помятом сюртуке не заходит в зал, хотя и имеет при себе пригласительный билет. Тяжело пошатываясь с перепоя, мутно вращая исподлобья налитыми кровью глазищами, стоит он под окном, держась одной рукой за парковое дерево, а другой сжимая за горло бутылку с излюбленным дешевым ромом. Стоит, смотрит, медленно пережевывая минуты, а потом выдавливает наконец из себя злобную фразу: «Якби... сліду панського в Україні...» И валится во влажную траву... Фантастика? Фарс? Конечно, фантастика!

Но фраза-то шевченковская! Подлинная!

А все собравшиеся в зале – действительно паны...

Берия в президиуме шевченковского юбилея

По вечерам я люблю выходить к памятнику Шевченко возле Киевского университета. Это смешное место. И символическое. Может быть, самое смешное и символическое в Украине. Именно тут культ Кобзаря, превратившись в аллегию Абсурда, достиг вершины.

До революции сквер, в котором стоит памятник, назывался Николаевским – в честь императора Николая I, а университет носил имя князя Владимира. Все казалось логичным. Царь, заботясь о благе подданных, учредил в 1834 г. университет и отдал его под покровительство святого, который крестил Русь и завел в ней первые школы. В сквере, у фонтана, выкопанного в форме Черного моря, проливы которого так мечтал отобрать у турок Николай, резвились дети, вырастая потом в гимназистов и студентов. Резвятся они и теперь.

С той только разницей, что с 1939 года, согласно очередному гениальному сталинскому плану, все на километр вокруг, куда ни плюнь, как асфальтом, было залито именем Тараса Григорьевича.

Монумент Шевченко торчит теперь в Шевченковском сквере на бульваре Шевченко напротив университета им. Т. Г. Шевченко! Рядом, в реквизированном «у панів» особняке помещается Музей Шевченко – в том самом блестящем, построенном в итальянском стиле доме №12, что некогда принадлежал городскому голове Демидову – князю Сан-Донато, а

потом знаменитому сахарозаводчику Терещенко.

Ну, а чтобы никто не подумал, что слепой народ мало любит своего поводыря, еще одно аристократическое место Киева – Оперный театр – в том же 1939 году тоже нарекли именем Шевченко, хотя ни опер, ни балетов Кобзарь отродясь не сочинял.

В начале 90-х, после объявления независимости, и этого показалось мало! Сталинский гениальный план слегка доработали, не меняя основной идеи, и в арку театра засунули еще и здоровенный бюст Тараса, издали почему-то похожий на Козьму Пруткову – чтобы ни одно представление не обошлось без его гениального присмотра.

Но и это еще не все!

Мало кто помнит, что в памятном 1939-м с тотальной шевченкизацией так спешили, что и киевское и каневское изваяния поэта заказали одной и той же команде деятелей искусства – скульптору Манизеру и архитектору Левинсону. Поэтому оба Кобзаря сутуловато стоят, утешив поясицы заложенными за спину пальто и, по-бычьему единообразно свесив лобастые головы с ужасающими усами.

Чем-то очень нравился наш Тарас Григорьевич кровожадному Иосифу Виссарионовичу! Так нравился, что кремлевский горец не забыл о его 125-летию (не такой уж и круглой дате!) даже в многотрудном, полном забот и расправ 39-м!

И не просто не забыл!

Открытием памятника в Киеве и передовицей в газете «Правда» от 6 марта («Великий сын украинского народа») всесоюзные пляски только начинались. А продолжатся они аж до конца июня, победными фанфарами заглушая тихий ужас очередного витка сталинских чисток.

В Казахстане в том году именем «великого украинского поэта» назовут город Форт-Александровский и национальную галерею, Ауздыкский аулсовет, Мангистауский район, три школы (чтоб мало не показалось!), улицу в Алма-Ате и рыбколхоз «Кзыл-Узен» – хотя никаких выдающихся результатов в рыбалке, точно так же, как и в оперном пении, Кобзарь не показал.

В Москве в библиотеке им. Ленина откроют юбилейную выставку. В Ленинграде в Академии художеств учредят шевченковскую стипендию и проведут вечер – после доклада о творчестве Шевченка местные писатели, как школьники, продекламируют его стихи.

А поэты Кара-Калпакии дружно отрапортуют, что перевели уже аж 31 стихотворение и отрывки из пяти поэм Великого Кобзаря и «приложат все усилия, чтобы произведения Тараса Григорьевича стали достоянием каракалпацкого народа».

Одним словом, происходила обычная советская комедия, вплоть до выступления в Запорожье «капели бандуристів алюмінійового заводу», о чем гордо сообщала киевская газета «Комуніст», и торжественного собрания в Харькове, на котором пугливые малороссы в почетный президиум избрали все Политбюро ЦК ВКП(б) в полном составе и отдельной статьей, на всякий случай, товарищей Долорес Ибаррури, Эрнста Тельмана и – обратите внимание, знакомая все-таки фамилия! – Лаврентия Павловича Берия.

Кому кажется смешно – смейтесь. Кому нет – погодите. Я вас еще рассмешу. Но так было!

Именно в 1939-м году товарищ Сталин с присущей ему гигантоманией окончательно утвердил в Советском Союзе культ деда Тараса, а собравшимся в Киеве на шевченковский Пленум членам Союза советских писателей оставалось только радостно отчитаться в приветственной телеграмме на имя вождя:

«Всі народи нашої Вітчизни відзначали ювілей Шевченка як велике свято соціалістичної культури, як свою рідну кровну справу.

З величезною радістю говоримо ми про це вам, дорогий Іосиф Віссаріонович, ми знаємо, з якою увагою і піклуванням поставились Ви до справи підготовки і організації цього культурного свята народів СРСР, – свята, в якому так яскраво втілилась непорушна сталінська дружба народів¹».

¹ Газета «Комуніст», 5 мая 1939 года.

Но все-таки чем так приглянулся бывший казачок пана Энгельгардта бывшему грузинскому семинаристу?

Не поверите – сходством мироощущения. Так сказать, родством душ.

Кровавая библия

«Кобзарь» называют «Библией украинского народа». Шевченко – его пророком. Тогда, почему же мы удивляемся, что наше место – на задворках Европы? С таким «пророком» и такой «Библией» в другое – не пустят.

Недаром же сам Тарас однажды признался: «Я от природы вышел какой-то неконченный²»... Только в школьные учебники эта фраза до сир пор не попала. И мы штампуют «неконченных» дальше, воображая, что метим их чуть ли не знаком качества.

Первая же поэма, с которой начинается «Кобзарь» («Причинна») поражает своей дикой бессмыслицей. Ждет дивчина казака из похода. Ждет, пока, тронувшись рассудком, не испускает дух под дубом. А тут (надо же, какое совпадение!) любимый возвращается. Смотрит – красавица его ненаглядная копыта откинула. И что же он? Да не поверите: «Зареготавсь, розігнався – та в дуб головою!»

По-видимому, это был богатырский удар! Поэт не уточняет подробностей, но, скорее всего, казак раскроил себе череп, как кавун. Оставалось только собрать мозги и похоронить этих степных Ромео и Джульетту. Мораль? А никакой морали, как всегда у Шевченко! Только глубокомысленная констатация: «Така її доля»...

И не стоит искать скрытых смыслов. Их нет. Ведь это просто бред не вполне нормального человека, помешанного на сценах жестокости. Материал для психоаналитика – не более того.

А дальше «кровавых мальчиков» становится все больше! Они просто обступают читателя со всех сторон:

Прокинулись ляшки-панки,
Та й не повставали:
Зійшло сонце – ляшки-панки
Покотом лежали.
Червоною гадюкою
Несе Альта вісті
Щоб летіли круки з поля
Ляшків-панків їсти...
Закрякали чорні круки,
Виймаючи очі;
Заспівали козаченьки
Пісню тії ночі...

Представляете картину: воронье закусывает и рядом капелла запорожцев сочными баритонами застольную выводит, чтобы у стервятников аппетит не пропал. Интересно: что они поют? Наверное, что-то вроде: «Гей, наливайте повнії чари, щоб краще в світі жилося»...

Только ничего общего с реальностью шевченковская фантазия не имеет! Это опять только скачки подсознания – поэтические вымыслы двадцатипятилетнего молодого человека, несколько месяцев назад получившего у пана вольную и теперь грезами компенсирующего свое скромное состояние ученика императорской Академии художеств. Молодой человек никогда не был на войне. Никогда никого не убивал. А потому, откуда ему знать, хочется ли запеть тому, кто только что зарезал ближнего своего – пусть даже и врага?

Зато в стихах наш неопытный юноша – настоящий уголовник! В его воспаленном мозгу уже зарождаются первые (как всегда, черно-красные) эскизы будущих «Гайдамаков».

2 Письмо С. С. Гулак-Артемовскому, Новопетровское укрепление, 15 июля 1853 г.

Пройдет три года и они визжащим кровожадным гопаком влетят в чахоточную украинскую литературу:

Максим ріже, а Ярема
Не ріже – лютує:
З ножем в руках, на пожарах
І днює й ночує.
Не милує, не минає
Нігде ні одного...

И выглянет из бесовского хора обезображенный ненавистью лик Гонты, в которого словно вселилась душа вурдалака:

Крові мені, крові!
Шляхетської крові, бо хочеться пити,
Хочеться дивитись, як вона чорніє,
Хочеться напиться...

Только чья это душа вошла в плоть несчастного уманского сотника? Да Шевченка же! Ведь не резал исторический Гонта своих сыновей! Это ему Тарас Григорьевич от себя приписал и речь ему вложил из самых темных недр СВОЕГО естества! Подлог, попросту говоря, совершил. Так кто же тогда настоящий вурдалак? Выходит, что добрячок Тарас Григорьевич...

Поднимаясь над подожженной гайдамаками Украиной, на мгновение он будто приходит в себя: «Тяжко глянуть»... А потом вновь впадает в демонический транс, на века заколдовывая несчастную землю:

... а згадаєм —
Так було і в Трої
Так і буде...

Стоит ли удивляться, что в гражданскую войну, через семьдесят семь лет после написания «Гайдамаков», Украину снова зальют кровью, словно решив разыграть в лицах шевченковскую поэму?

И большевики, и националисты очень любили Шевченко, с одинаковым рвением создавали его культ и числили в своих пророках.

Почему?

Хуторской философ

Да потому, что порывшись в «Кобзаре», можно найти материал для любой идеологии! Нет такого тезиса, который бы не исповедовал наш «украинский апостол», и от которого бы он одновременно не отрекался.

Шевченко – атеист? А почему бы и нет!

«Нехай, – каже, – Може, так і треба».
Так і треба! Бо немає
Господа на небі!

И упорный атеист! Убежденный! Высказавшись в этом духе в поэме «Сон», через год опять разразится очередной безбожной вариацией:

Нема раю на всій землі,
Та нема й на небі³.

Но, может, он богоборец? Есть и тому подтверждение! Именем Христа размахивая, не раз того проклинал:

Отим киргизам, отже й там
Єй же богу, лучче жити,
Ніж нам на Україні.
А може, тим, що киргизи
Ще не християни?..
Наробив ти, Христе, лиха!

Правда, все это не мешает Тарасу Григорьевичу безапелляционно поучать в письме своего приятеля Козачковского: «Веруй! И вера спасет тебя», а над атеистами издеваться:

Якби ви вчилися так, як треба,
То й мудрість би була своя.
А то залізете на небо:
«І ми не ми, і я не я,
І все те бачив, і все знаю,
Нема ні пекла, ані раю,
Немає й бога, тільки я!

Но через каких-нибудь пять лет наш интелlectual выкидывает очередное мировоззренческое коленце – на сей раз в «индуистском» духе. Внимательнее изучив человеческую природу во время армейской службы, Кобзарь внезапно становится приверженцем теории переселения душ:

Мені здається, я не знаю,
А люде справді не вмирають,
А перелізе ще живе
В свиню абощо, та й живе...

Обратите внимание на обаятельный ход поэтической мысли – реинкарнация происходит только в свинью или нечто подобное. Никакие «благородные», симпатичные животные, вроде коня или собаки, бывшим людям не достаются – не заслужили. Только в свинью! Ну, в крайнем случае, в дикого кабанчика...

Но проходит еще какое-то время, и вот Шевченко уже снова тихий блудный сын божий, просто истекающий медоточивой молитвой:

Недавно я поза Уралом
Блукав і господа благав,
Щоб наша правда не пропала,

³ Внимательный читатель несомненно уловит зависимость этого вопля шевченковской души (4 октября 1845 г., Миргород) от истерической тирады пушкинского Сальери:

... Нет правды на земле.
Но правды нет – и выше.

Характерно, что в подсознании Шевченко отложилась фраза из монолога самого «неполноценного», истерзанного завистью пушкинского персонажа. «Моцарт и Сальери» был написан в Болдинскую осень, ровно пятнадцатью годами ранее цитируемого стихотворения Шевченко, и, по-видимому, поразил воображение начинающего малороссийского стихотворца.

Щоб наше слово не вмирало;
І виблагав. Господь послав
Тебе нам, кроткого пророка...

И что же заставило его уверовать? Что оживило выжженную злобой душу неудачливого демона? Да всего лишь знакомство с пухленькой начинающей писательницей Машенькой Маркович, спекулирующей под псевдонимом Марко Вовчок модной темой народных страданий, а между делом, кокетничающей с разномастными подержанными ловеласами, вроде Кулиша или Тургенева.

В репертуаре Шевченко впервые появляются даже несвойственные ему ранее нотки смирения и самокритичности:

Не нарікаю я на бога
Не нарікаю ні на кого.
Я сам себе, дурний, дурю,
Та ще й співаючи...

Такое впечатление, что этот тип просто спорит сам собой, как это свойственно сумасшедшим, путаясь в мыслях, спотыкаясь на каждом шагу и кривляясь перед зеркалом. Но, возможно, сложность предмета его смутила? Нет ведь ничего затруднительнее богословских прений.

Давайте-ка подождем, пока он слезет с неба.
Но и на земле Шевченко остается таким же путаником.

Как вам, например, понравится утверждение: Шевченко – расист. Уверен, что не понравится. Любой мало-мальски ознакомленный с канонической биографией гения-демократа от такого утверждения просто отмахнется. Мол, кто же не знает, как в Петербурге, растрогавшись игрой чернокожего актера Айры Олриджа в роли короля Лира, Тарас Григорьевич буквально навалился на него с объятиями, слезами, шепотом, бессвязными речами и бесчисленными поцелуями⁴ (по-видимому, довольно слюнявыми, как и все поцелуи в подобных случаях – О. Б.)

Все это так. А теперь давайте откроем не менее канонический «Кавказ», написанный в знак протеста против колониальной политики царизма, и прочтем:

Французів лаєм. Продаєм
Або у карти програєм
Людей... НЕ НЕГРІВ... а таких
Таки хрещених... но простих⁵

Что же это получается: негры, по Шевченко, – не люди? И торговать ими то ли не такой грех, как белыми, то ли вообще не грех, вроде безобидной хомячьей коммерции на птичьем рынке? Ай, да гений! Ай, да демократ!

4 Примерно так это описано в воспоминаниях Михаила Микешина: «Картина, яку я побачив, вразила мене: в широкому кріслі напівлежав зморений «король Лір», а на ньому – буквально на ньому – був Тарас Григорович; слюзи градом котилися з його очей, здавленим голосом він шепотів уривчасті палкі слова обурення і захоплення, покриваючи поцілунками розмальоване олійною фарбою обличчя, руки й плечі великого актора»... Цит. по кн. «Спогади про Тараса Шевченка», Київ, 1982.

5 Вероятно, в фразе «Людей... не негрів» все-таки отразились отголоски тогдашних научных споров, опустившихся на бытовой уровень. Вплоть до XIX века некоторые европейские ученые отказывались причислять чернокожих к тому же виду, что и белые. Отсюда термин «мулат», образованный по аналогии со словом «мул». Потомство белого и негрятинки ошибочно считали таким же бесплодным, как помесь осла и кобылы.

Но и с антиколонизаторскими убеждениями Кобзаря все не так просто! Стихи стихами, но есть ведь и частная переписка, в которой оседали «непечатные» мысли. Для себя. Для узкого круга.

Одним из ближайших приятелей Тараса Григорьевича был Яков Герасимович Кухаренко – наказной атаман Черноморского казачьего войска. Они познакомились в Петербурге примерно в 1840 году и с тех пор переписывались до последних лет жизни. Кухаренко тоже был литератором. Он написал пьесу из казачьей жизни «Черноморский побит на Кубани», пользовавшуюся известностью в украинских кругах и впоследствии превращенную композитором Лысенко в популярную оперу.

Кухаренко не отступился от Шевченко даже после его ареста и в письмах обращался как к «брату курінному товаришу», а тот в ответ величал атамана в дневнике «истинно благородным человеком», мнением которого он «дорожит».

Но как ни печально слышать это любителям псевдонародных легенд, а «благородный человек» был по совместительству еще и... колонизатором, покорителем Кавказа, воевавшим с горцами как раз в то самое время, когда Шевченко отсиживался в глубоком закаспийском тылу, выслуживая свой знаменитый формулярный список: «В походах и делах против неприятеля не был».

Но что за счастье быть в делах против неприятеля, он хорошо понимал, и поэтому 5 июня 1857 года обратился к Кухаренко с очередным дружеским посланием, где были и такие проникновенные строки: «Але ти все-таки напиши мені, чи будеш ти се літо на коші, чи, може, знову підеш вражого черкеса та прескурвого сина по кручах ганяти».

Вот после этого «прескурвого сина» куда больше веришь и в то, что негры для Шевченко – не всегда люди...

Кухаренко же никогда не забывал сообщить Тарасу о своих военных подвигах и часто звал в гости на Кубань: «Приїзди, будь ласкав, до нас подивитись на тих потомків, котрі два віки різались з ляхами, а третій з черкесами⁶.»

Но истинная ирония истории заключается в том, что те самые кавказские «лицарі», которым в поэме «Кавказ» адресует Кобзарь свое знаменитое «Борітеся – поборете, вам бог помагає!», те самые честные, самоотверженные герои, которым, кроме «чурека» и «сакли» якобы ничего не надо, – убьют его верного друга Якова Кухаренко.

Ночью 19 сентября 1862 года за станицей Казанской на отставного черноморского атамана и еще двух казаков напала шайка черкесов. Раненый Кухаренко попал в плен и через несколько дней умер. Только за 20 тысяч рублей выкупили черноморцы у «бескорыстных» своего атамана⁷, лишний раз доказав, что невесело быть другом того, кто молится за твоих врагов...

Но всего этого Шевченко, умерший полутора годами ранее, естественно, никогда не узнает. Очередной парадокс ускользнет от его прямолинейного мышления.

Впрочем, Шевченко попросту не имел свойственной тренированным умам привычки подмечать собственные противоречия. Чесал, что в голову взбредет. Сначала за здравие. Потом – за упокой. Вот, например, как трактует он свою излюбленную казацкую тему в «Івані Підкові»:

Було колись – в Україні
Ревіли гармати;
Було колись – запорожці
Вміли панувати.

И не успел ты ему поверить на слово, как он уже выкрикивает совершенно противоположное. Причем в своей обычной манере, прямо с пеной на губах:

6 Письмо от Я. Г. Кухаренко, 25 мая 1845 г.

7 Подробнее в книге: Дмитро Білий «Малиновий клин. Нариси історії українців Кубані», Київ, 1994 р.

Раби, подножки, грязь Москвы,
Варшавське сміття – ваші пани,
Ясновельможній гетьмани.
Чого ж ви чванитесь, ви!

Да помилуй, кто же чванится? Это ведь ты сам только минуту назад, как надувался от самодовольства. Мы же смотрим спокойнее. Если взять какого-нибудь гетмана Ханенко, которого теперь только узкие специалисты помнят, – то, что и говорить, «варшавське сміття». А, если, например, Сагайдачного, так ты ему и в подметки не годишься. Он честно, от ран, после Хотинской битвы скончался. А ты, когда твой приятель Платон Лукашевич написал, что у него триста таких «свинопасов», как Шевченко, только наябедничал княжне Репниной и разревелся у нее на плече, чему есть собственноручное ее свидетельство: «Мой милый Шевченко <...> рассказал мне ужасную обиду, которое нанесло ему письмо этого ложного друга, и, рассказывая, плакал от боли. Видеть мужчину плачущим, особенно если горячо любишь его, чувствовать, что его унизили, – это очень больно; я не знала, что сказать, что сделать, чтобы утешить его»...

Утешила – руки целовала. Как утешала и раньше – даже шарф однажды связала ему, чтоб не мерз. На что он в ответ перепробовал, сколько смог, крепостных девок из прислуги княжны в Яготине и напился, как хряк – благо жил в отдельном флигеле, куда обед носили, если он дулся и не хотел выходить к гостям.

В припадке изредка донимавшего его раскаяния Тарас Григорьевич однажды признался в письме Гулак-Артемовскому: «Эх! То-то було б, дурний Тарасе, не писать було б поганих віршів та не впиваться почасти горілочкою, а учитись було б чому-небудь доброму⁸»...

Но, полно, была ли его жизнь так трудна, как любили изображать его биографы и он сам? А вот и нет!

В объятьях фортуны

Стоит только снять черные очки, чтобы понять, судьба Шевченко – необыкновенная удача. Достаточно простых сравнений. Родившийся в один год с ним Лермонтов – в двадцать семь уже в могиле. Его путь прерван в тот самый момент, когда Шевченко едва успел выпустить «Кобзарь» и пережить первые искры литературной славы. Достоевский (тоже почти ровесник – только на шесть лет моложе Тараса) четыре года проведет в Омском остроге на каторжных работах, а потом в Семипалатинске будет тянуть солдатскую лямку. Поэта Бестужева-Марлинского, декабриста, сошлют не в тихий Казахстан, как Тараса, а на Кавказ, где во время десанта на мыс Адлер 7 июня 1837 года горцы изуродуют его так, что труп не удастся опознать даже на следующий день при размене телами. (Знаменитого курорта, как вы понимаете, в Адлере тогда еще не было). Только наша украинская склонность к бесстыдному публичному мазохизму сделала из Шевченко гомерического, ни с кем не сравнимого страдальца.

Но измышления болтунов, как всегда, опровергаются одним абзацем, причем шевченковским же! 30 июня 1857 года он пишет своему другу Лазаревскому из Новопетровского укрепления о коменданте этой «фортеции» майоре Ускове: «Ираклий Александрович (щоб його лихо не знало) великий мені приятель. То ви вже, други, брати мої любії, зробіть, що він там пише, зробіть для його і для мене. Він мене п'ятий рік годує і напуває».

Слово «НАПУВАЄ» отметь, читатель, особо. Мы к нему еще вернемся. А пока напомним тем, кто забывает исторические даты – за эти пять лет успеет разгореться, войти в полную силу и даже завершиться миром знаменитая Крымская война. И пока поручик Лев Толстой (даром что граф!) воюет в Севастополе, каждый день рискуя получить шальную французскую пулю в гениальную голову, а хирург Пирогов не поднимает головы от

⁸ Письмо С. С. Гулак-Артемовскому, 15 июля 1853 г.

операционного стола, рядовой Шевченко мирно, со вкусом ЕСТ и ПЬЕТ в доме коменданта Новопетровского укрепления, находящегося, по милости Божьей, в таком глубоком тылу, что даже письма идут туда месяцами.

Большинство мужчин, читающих эту книгу, служили, наверное, в армии. А теперь скажите, многие ли из вас обедали хотя бы разок у своего взводного? То-то же!

А несчастный, преследуемый царскими сатрапами Тарас, подъедался годами. И не у взводного, а у своего прямого начальника, выше которого по званию в крепости не было никого. Да еще и бросал на его жену Агафью Ускову платонические взгляды, вызванные, по-видимому, хорошей кухней и отличным пищеварением.

Но разве только тогда ему так фантастически везло? Да, нет же! Везение – неотъемлемый элемент биографии нашего поэта. В детстве крепостной мальчик мечтал всего лишь о судьбе деревенского маляра, расписывающего церковные стены. Но Богу было угодно внушить помещику Павлу Васильевичу Энгельгардту мысль о необходимости еще одного казачка подле своей высокой особы. В результате босоногий мальчик с узким кругозором смог расширить свои представления об окружающей действительности за пределы деревень Моринцы и Кирилловка.

И опять Богу было угодно в нужный момент усадить его срисовывать статуи в петербургском Летнем саду и послать ангела, то есть, художника Сошенко, такого же голодранца, как Тарас, только вольного, чтобы донести господам Жуковскому и Брюллову бесценную информацию о том, что наш малороссийский талант уже объявился в Петербурге и ждет, когда его освободят.

Дальше Богу было угодно выкупить шустрого мальчонку из крепостного состояния. Причем, частично за деньги царской фамилии, о чем почему-то забывают. Между тем, 14 апреля 1839 года в Царском селе (том самом, где и пушкинский Лицей!) произошло это замечательное событие. Имеется и соответствующее свидетельство в камер-фурьерском журнале – дневнике, описывающем каждый день императорской семьи. Императрица потратила на лотерею четыреста рублей, наследник престола Александр Николаевич (тот самый, который, став царем, потом освободит и всех мужиков в империи) и великая княгиня Елена Павловна – по триста. Остальные тысячу четыреста доплатили гости. И уже через восемь дней полковник в отставке Павел Энгельгардт документально засвидетельствовал, что дает свободу своему крепостному.

Ну, и как же воспользовался свободой наш благодетельствованный небесами герой, превратившийся в одночасье из свинопаса в ученика Императорской Академии Художеств? Наверное, сутками из класса не вылезал. Все трудился, сердешный. Античных мраморных дядек срисовывал. Над натурой корпел. Этюдами организм подрывал.

Как же!

Не для того он сюда пролез, чтобы за здорово живешь очертя голову из жертв феодально-крепостнического произвола да попасть прямо в жертвы Аполлона!

«Як здав я екзамен та як почав гуляти, то опам'ятався тільки тоді, як минуло моїй гульні два місяці!» – гордо рассказывал будущий символ нации о своем академическом житье-бытье дальнему сельскому родственнику Варфоломею Шевченко.

И что же? Провидение его оставило? Признало, что ошиблось? Плюнуло на него в отвращении? Нет! Нежнейшим образом оно по-прежнему о нем заботилось. Слушайте дальше: «Прочунявши, ото лежу собі вранці та гадаю: а що ж тепер діяти? Аж гульк! Хазяйка прийшла та й каже: «Тарас Григорович! Не маю чим дальше воювати! Від вас належить за два місяці за квартиру, харчі і прачку! Або давайте гроші, або вже не знаю, що з вами й робити».

Тільки що пішла від мене хазяйка, приходять прикажчики, один услід одного, та все-то за грішми: «Пожалуйте, – кажуть, – по счетцу-с». «Що його робити?!» – думаю; беру «счетцы» і кажу: «Добре! Лишіть счоти, я передивлюсь і пришлю гроші», а собі на умі: коли-то я пришлю і де добуду грошей?»

Тільки що се думаю, приходять до мене Полевой і каже, що він гадає видати

«Двенадцать русских полководцев», то щоб я намалював йому портрети їх. Зрадів я, думаю: правду люде кажуть: «Голий – ох! а за голим бог!» Умовились ми з Полевим, він дав мені завдатку, оцими грішми я й визволився з пригоди⁹...»

Видимо, именно по причине такой невероятной везучести Тарас Григорьевич выразил свое тогдашнее душевное состояние другими, куда более известными широкому читателю словами:

Тяжко-важко в світі жити
Сироті без роду:
Нема куди прихилиться, —
Хоч з гори та в воду!

Интересно, почему все-таки не утопился? В этом, наверное, тоже царское самодержавие виновато – выбрало для столицы место гнилое, плоское. Ни одной приличной горы. Даже в этом над простым человеком поиздевалось – неоткуда и в воду броситься. Разве что с моста? Так там полиция, прохожие – все равно спасут, негодяи.

А дальше следует просто непрерывная пора светских успехов, пока, наконец, прохладным вечером в парке поместья Василия Васильевича Тарновского в честь приезда Шевченко на старой березе не вспыхнет вензель «Т. Ш. «и не зазвучит гимн с припевом: «Среди нас, среди нас добрый Тарас».

Субъект-то исключительно везучий попался! Сказано – любимец Фортуны.

Как, например, тогда невезучие свои сочинения издавали? Да, так, как и теперь, в долг. Канючили кредиты под будущие барыши. Только способ не самый надежный. Ох, не самый... Пушкин после своих издательских «прожектов» целых 45000 рублей казне должен остался! А взять с него было – разве что попорченную пулей Дантеса шкуру редкого в России оттенка.

А к нашему самородку издатель сам пришел! Причем, даже не подозревая, что он издатель. Он до этого ничего не издавал. Портрет свой пришел заказать. И был он из того самого презираемого Тарасом Григорьевичем военного сословия – штабс-ротмистр в отставке, да еще и крепостник, бабник, украинский помещик, а по совместительству подавитель польского восстания 1831 года – очень непрогрессивный человек – Петр Иванович Мартос собственной персоной.

И надо же ему было во время очередного сеанса в запыленной квартире Шевченко на Васильевском острове поднять с пола какую-то грязную бумажку, оказавшуюся на поверку стихотворным опытом!

– Що се таке? – ласково спросил крепостник.

– Та се, добродію, не вам кажучи, як іноді нападуть злидні, то я пачкаю папірець, – последовал не вполне грамотный ответ.

– А багато у вас такого?

– Та є чималенько.

– А де ж воно?

– Та отам під ліжком у коробці...

– А покажіть¹⁰!

Тарас показал.

И опять-таки надо же было офицеру царской колониальной армии украинцу Мартосу не только прочесть вытащенный из-под кровати ворох изодранных бумажек, но еще и предложить издать их за собственный мартосовский счет! Безвозмездно. То есть, даром.

Тарас поначалу даже не осознал своего счастья. «Ой, ні, добродію! Не хочу! – завопил он. – Щоб іще побили! Цур йому!»

Но не тут-то было! Если уж Фортуна взялась кого любить, то держись – пока все

⁹ Спогади про Тараса Шевченка, Київ, 1982, с. 30

¹⁰ Отрывки из воспоминаний П. Мартоса помещены во втором разделе этой книги.

волосы до лысины не обдерет, не отпустит.

И «Кобзарь» издали.

Действительно за мартосовский счет.

Под редакцией поэта Гребинки, исправившего все несообразности полуграмотного дикаря.

Да еще и цензор Корсаков ни слова не знал по-украински, а потому подмахнул все почти не глядя – Мартос сам ездил к нему, чтобы дело шло побыстрее.

Я часто думаю: что случилось бы, если бы казачок Энгельгардту не понадобился? А ничего! Просто в украинской глуши спился бы еще один провинциальный маляр с мутными от сивухи глазами – точь в точь такой, как изображен сегодня на стогривенной купюре. Ведь неподвзятые факты свидетельствуют: вместе с удачей в судьбу Шевченко вошел еще один постоянный фактор – алкоголизм.

В лапах зеленого змия

Кожух на кровати, бардак на столе и... пустой штоф из-под водки – вот что, прежде всего, бросилось в глаза поэту Полонскому в меблировке шевченковского жилища¹¹. Захаживавший примерно в то же время к Кобзарю художник Микешин отметил еще шмат сала в развернутой бумаге, валявшийся посреди каких-то коробочек и малороссийских бус¹². И все это прямо в обиталище Аполлона и муз – на антресолях Академии художеств! Даже храм искусства Тарас без малейшего стеснения превратил в филиал знакомого ему с детства украинского шинка, чей дух был впитан чуть ли не с молоком матери¹³.

Не хватало только соответствующей компании, не раздражающей чрезмерным аристократизмом. Но за ней всегда можно было сходить в какое-нибудь из самых дешевых питейных заведений, где пиво разносила босая девка, подливая его прямо в бурлящий котел поэтического вдохновения:

Дівча любе, чорнобриве
Несло з льоху пиво. А я глянув, подивився —
Та аж похилився... Кому воно пиво носити?

Да тебе же! Пить надо меньше и не будешь изумляться. А если не доволен, что она босая, так дай ей на лапти и не приставай к Богу с бессмысленными вопросами:

Кому воно пиво носити?
Чому босе ходити?..
Боже сильний! Твоя сила
Та тобі ж і шкодити.

«Живя в Петербурге, – вспоминает Николай Белозерский, – Шевченко любил посещать трактир около биржи, в котором собирались матросы с иностранных кораблей... Всегда тихий и кроткий, Шевченко подвыпивши, приходил в страшно возбужденное состояние, бранил все, и старое и новое, и со всего размаху колотил кулаком по столу. Однажды встретили в Петербурге подгулявшего Шевченко, шедшего с таким же Якушкиным под руку; они взаимно поддерживали друг друга. Шевченко, обращаясь к встретившемуся с ним знакомому и усмехаясь, сказал: «Поддержание народности¹⁴».

А будущий издатель «Киевской старины» профессор Лебединцев и вообще

11 Спогади про Тараса Шевченка, Київ, 1982, с. 337

12 Там же, с. 341

13 По описи 1845 года в Кирилловском имении Энгельгардта значилось 29 шинков и постоянных дворов (!), куда, в отличие от барщины, силой мужиков никто не загонял.

14 Тарас Григорьевич Шевченко по воспоминаниям разных лиц, «Киевская старина», 1882, т. IV.

познакомился с певцом народных страданий при пикантнейших обстоятельствах – когда тот в дымину пьяный валялся под каким-то забором на Подоле:

«У меня невольно забилося сердце при мысли о скором свидании с человеком, которого я давно чтил в душе за его несравненный талант; молодое воображение рисовало его в каких-то причудливых, необыкновенных чертах <...>. Увы! скоро все мечты рассеялись, как дым, при виде глубоко-грустной картины: Тарас, которого не оказалось в комнатах, вскоре найден нами у ворот в преждевременном и отнюдь не непорочном сне.<...> Указанное обстоятельство нисколько, разумеется, не уменьшило моего глубокого уважения к поэту и сердечных моих симпатий к нему, но повергло меня в неопишное смущение... Не меньше моего, кажется, смущен был и Тарас Григорьевич, когда кое-как разбуженный отцом Ефимом, вошел с ним в комнату и увидел меня. «Ох, Зелена, Зелена!» – повторял он со вздохом... Хотя радушный хозяин поспешил расшевелить нас наливочкою, но разговориться на сей раз мы никак уже не могли, и я скоро отправился к себе на квартиру¹⁵».

Зато на другой день часов в пять пополудни отоспавшийся Тарас Григорьевич явился к Лебединцеву лично и без наливки и почти с первых слов «заговорил о задуманном в Петербурге издании «Основы», ее задачах и целях, силах, способах и пр.». Хозяин с восторгом слушал, прекрасно понимая при каких трудных обстоятельствах пробивается в России вольная мысль, когда даже лучшие представители ее порой нетвердо стоят на ногах.

Впрочем, что означает это расплывчатое «порой»? Перейдем к строгой статистике.

– А Тарас Григорьевич часто бывал «под шефе»? – прямо спросил однажды корреспондент «Киевской старины» ротного командира Шевченко капитана Косарева.

«Ну!... часто не часто, а бывал-таки. Да «под шефе», это что! – пустяки: тогда одни только песни, пляски, остроумные рассказы. – А вот худо, когда, бывало, он хватит уже через край. А и это, хотя, правда, редко, а случалось с ним последние, этак года два-три... – Раз, знаете, летом выхожу я часа в три ночи вдохнуть свежего воздуха. Только вдруг слышу пение. – Надел я шашку, взял с собой дежурного, да и пошел по направлению к офицерскому флигелю, откуда неслись голоса. – И что же, вы думаете, вижу? Четверо несут на плечах дверь, снятую с петель, на которой лежат два человека, покрытые шинелью, а остальные идут по сторонам и поют: «Святый Боже, Святый крепкий!» – точно хоронят кого. – «Что это вы, господа, делаете? – спрашиваю их. – Да, вот, говорят, гулянка у нас была, на которой двое наших, Тарас да поручик Б., легли костьми, – ну, вот, мы их и разносим по домам¹⁶»...

В другой раз на охоте, пока офицеры гонялись по зарослям за куропатками и дупелями, которыми кишели каспийские берега, Шевченко, оставленный с казаком «на хозяйстве», умудрились выпить четыре (!) бутылки водки на двоих – весь приготовленный для компании запас!

«Смеху тут и шуткам не было конца, – вспоминал добропорядочный Косарев, бывший, кстати, четырьмя годами моложе своего подчиненного, – но мне, знаете ли, было и больно, и досадно за него: ну, пусть бы еще казак-то, простой – необразованный человек... а он-то?!... Так, знаете, на арбе, в бесчувственном состоянии, привезли мы его в крепость¹⁷».

Но можем ли мы верить всем этим свидетельствам друзей, знакомых, приятелей, сослуживцев? Не клеветают ли они на гения, создавая образ валяющегося в грязи забулдыги? Нет, не клеветают! Ибо сам Шевченко их подтверждает.

9 сентября 1857 года освобожденный от солдатчины Тарас путешествует по Волге на пароходе. В дневнике его появляется любопытная для неподвизятого исследователя запись: «... у меня родился и быстро вырос великолепный проект: за обедом напиться пьяным. Но увы, этот великолепный проект удался только вполовину».

Зато на следующий день гению необыкновенно повезло: «Вчерашний мой, великолепный, вполовину удавшийся проект сегодня, и что уже, слава Богу, только вечером,

15 Феофан Лебединцев (Лобода), Мимолетное знакомство мое с Т. Г. Шевченко, «Киевская старина», 1887, №2.

16 Н. Д. Новицкий. На Сыр-Дарье у ротного командира. «Киевская старина». 1889, №3.

17 Там же.

удался, и удался с мельчайшими подробностями, с головной болью и прочим тому подобным».

11 сентября после попойки Тараса так мутит, что писать сам он уже не может. И тогда капитан «Князя Пожарского» некто Кишкин, пародируя стиль сельского дьячка, описывает, как у Тараса тряслись руки («колеблется десница и просяй шуйцу»), и как он не остановившись «на полупути спасения», водкой «пропитан бе зело». По свидетельству капитана, Тарас Григорьевич скакал босиком в одной рубашке на постели и изрыгал греховному миру проклятия, не давая никому заснуть. Опохмелился же не то четырьмя, не то пятью рюмками вишневого водки – «при оной цибуль и соленых огурцов великое множество».

Неудивительно, что на следующий день 12 сентября, выдающийся поэт, уже собственноручно записывает: «Погода отвратительная».

Но это, так сказать, печальный закат! А раньше было куда веселее...

В молодые годы вместе со своими приятелями-собутыльниками – братьями Закревскими и де Бальменами Шевченко составил целый политико-алкогольный заговор – «Общество мочемордия», на заседаниях которого председательствовал «его всепьянейшество» Виктор Закревский, отставной кавалерийский офицер. Морду «мочили» ромом, наливками и крепчайшими травяными настойками, от которых у непривычного человека могло просто разорвать голову. Употребление «вульгарной» сивухи устав общества строго запрещал. В пьяном угаре мечтали о грядущем братстве славянских народов и справедливом социальном переустройстве.

Своей «антиправительственной деятельности» мочеморды не прекратили и после ареста Шевченко. В апреле 1848 года на имя полтавского губернатора поступил донос, что на обеде у помещицы Волховской «отставной поручик Михайла Закревский провозгласил тост: «Да здравствует Французская республика!» А родной брат его, отставной ротмистр Виктор Закревский закричал: «Ура!» Некий офицер Цихонский будто бы тут же поднял тост и «за Украинскую республику».

Братьев Закревских арестовали, и отправили в Петербург. Но Третье отделение быстро разобралось, что имеет дело с обыкновенными алкоголиками, и по приказу генерала Дубельта их быстро отпустили, невзирая на прогрессивные политические взгляды.

Среди рисунков Шевченко сохранился портрет Виктора Закревского, напоминающего вставшего на задние ноги поросенка – уродливого, опухшего с перепоя существа с отвисшим брюхом, в едва запахивающимся халате. Запомни читатель эту осовевшую личность владельца сельца Березовые Рудки – именно в его булькающем животе зарождались первые на Украине прогрессивные идеи! Взирай на него с благоговением – это друг Великого Кобзаря. А значит и твой тоже.

Запой же самого Тараса Григорьевича были настолько хорошо известны, что во время дознания по делу Кирило-Мефодиевского общества один из основателей его Василий Белозерский предложил следствию такую версию поэтического вдохновения собрата: «Стихи свои Шевченко писал в состоянии опьянения, не имея никаких дерзких замыслов, и в естественном состоянии не сочувствовал тому, что написал под влиянием печального настроения».

Честно говоря, пьянство даже оттянуло на год арест Шевченко. Как-то, проезжая Лубны в предверии ярмарки, Шевченко задержался там ради возлияний на несколько дней. В малознакомой пьяной компании он читал кому попало свои стихи. Местный городничий немедленно подал рапорт на имя губернатора князя Долгорукова о том, что «академик Шевченко» агитировал народ против властей.

Но губернатор сам был большим поклонником Бахуса. Хорошо зная, что может выкидывать человек в пьяном угаре, он не дал делу хода. Но Шевченко, не оценив гуманности своего коллеги по проведению свободного времени, Долгорукова, как-то назвал его в злобных виршах «пьяным унтером», хотя сам частенько бывал не менее пьяным рядовым.

Нет ничего удивительного в том, что когда Шевченко действительно арестовали, то

приговор ему был вынесен точно такой же, какой доставался в те времена алкоголикам благородного сословия, прощтрафившимся на государственной службе.

Не верите? Читайте дальше!

Привилегированный солдат

Страдания Тараса Григорьевича в Новопетровской крепости не знали предела. Его принуждали обедать у коменданта, пьянствовать с офицерами и... спать под вербой.

«Сегодня я, как и вчера, рано пришел на огород, долго лежал под вербою, слушал иволгу и, наконец, заснул», – так описывает очередной день своей службы рядовой Отдельного Оренбургского корпуса Тарас Шевченко. Дрыхнул он, по-видимому, долго, судя по «экскурсии», которую удалось совершить: «Видел во сне Межигорского Спаса, Дзвонковую Криныцю и потом Выдубецкий монастырь. А потом Петербург и свою милую Академию. Сновидение имело на меня прекрасное влияние в продолжение всего дня...»

Заметим, что днем ранее, 17 июня 1857 года, выдающийся украинский поэт, преследуемый царским самодержавием, явился на свой любимый огород «в четвертом часу утра», чему в дневнике тоже имеется его собственноручное свидетельство. Явившись, он тут же завалился на бок и записал: «Ни малейшей охоты к труду. Сижу или лежу молча по целым дням под моею любимую вербою, и хоть бы на смех что-то шевельнулось в воображении. Таки совершенно ничего».

Болезненная фантазия истеричных школьных учительниц, никогда не служивших в армии, подарила нам образ поэта-страдальца, истязаемого садистами-офицерами. Действительность, однако, мало походила на это пугало, придуманное для устрашения двоечников.

Начнем с того, что у царского правительства не было задней мысли гноить Шевченко годами в звании рядового. Его сослали в солдаты «с правом выслуги», о чем почему-то стыдливо забывают на уроках литературы. Той же мерой отделялись непослушные сыновья, растратчики казенных денег и обыкновенные хулиганы. «Гусарского имени Вашего полку унтер-офицера из дворян Корсакова за неоднократное его пьянство и худое поведение написать в рядовые до поправления», – такими приговорами, как этот, подписанный знаменитым Кутузовым, пестрят судебные дела Российской империи. Неизвестно, исправился ли пьянчуга Корсаков. Зато толстовский Долохов из «Войны и мира», разжалованный в солдаты за купание полицейского в Неве, исправился и вновь вернулся в петербургские гостиные уже в офицерских эполетах.

То, что это было возможным и распространенным, доказывают даже биографии сослуживцев Шевченко. Например, среди офицеров Новопетровского укрепления числился артиллерийский штабс-капитан Мацей Мостовский. Этот поляк попал в плен к русским во время восстания 1830 года. В качестве наказания «восточные варвары», не расстреляли его, не сослали в Сибирь, а всего лишь определили рядовым, в свою армию, где он умудрился сделать карьеру похлеще, чем в родной Польше. Тарас Григорьевич любил зайти к Мостовскому пообедать и покалякать о жизни, но следовать его примеру и добросовестно тянуть ляжку не торопился.

Конечно, можно упрекнуть отцов-командиров в том, что они не захотели проявить широту души и пойти навстречу талантливому народному самородку. Но нужно и честь знать. Сам Шевченко откровенно признавался в дневнике: «Я не только глубоко, даже и поверхностно не изучил ни одного ружейного приема». И это несмотря на хваленую николаевскую муштру, которой нас так любили пугать! Мыслимо ли было такому парню доверить командование другими?

А ведь поначалу с Тарасом Григорьевичем возились всерьез! Майор Мешков, сам выбившийся в офицеры из рядовых, лично обучал новобранца строевой подготовке и искренне расстраивался, что тот не проявляет должной сноровки. Шевченко откалывал фокусы почище бравого солдата Швейка – то разгуливал в белых замшевых перчатках не по

форме, то отдавал честь, приподнимая бескозырку по-штатскому, как цилиндр.

Бедняга-майор как-то даже заметил Тарасу, что когда тот станет офицером, то не сможет даже в порядочную гостиную войти, если не выучится, как следует, вытягивать носок. «Меня, однако ж, это не задело за живое», – пишет поэт, напирая на свое «невозмутимое хохлацкое упрямство». Строевая наука, которую доблестно преодолели избалованные дворянские отпрыски Лермонтов и Фет, оказалась не по зубам гению из села Кирилловка.

Саму же ссылку в солдаты можно расценивать только как мягчайшее наказание для государственного преступника.

Из Николая I слепили злобное, ограниченное пугало. Между тем, это был храбрый, не раз доказавший свое самообладание человек с чувством юмора и интересом к литературе. Именно он оплатил долги Пушкина и гоголевскую поездку в Италию, а во время крестьянского бунта мог лично выйти к толпе и криком: «На колени!» привести ее в летаргическую покорность.

Какого-то особого зуба на Шевченко у Николая не было. Более того! Знавший украинский язык император (еще великим князем во время поездки в Полтаву он попросил Котляревского подарить ему два экземпляра «Энеиды»), лично и с большим интересом буквально «проглотил» поэму «Сон», предоставленную ему Третьим отделением. По свидетельству Белинского, «читая пасквиль на себя, государь хохотал», а расвирипел только дойдя «до пасквиля на императрицу». «Допустим, он имел причины быть недовольным мною, – заметил Николай, – но ее же за что?»

В какой-то мере царь был даже большим гуманистом, чем поэт. Пьяниц и дебоширов он определял в солдаты в надежде на исправление. Шевченко же о тех, с кем ему пришлось служить, отозвался в дневнике так: «Рабочий дом, тюрьма, кандалы, кнут и неисходимая Сибирь – вот место для этих безобразных животных, но никак не солдатские казармы, в которых и без них много всякой сволочи. А самое лучшее – предоставить их попечению нежных родителей, пускай спотешаются на старости лет своим собственным произведением. Разумеется до первого криминального поступка, а потом отдавать прямо в руки палача».

Можно только порадоваться, что Господь не поменял императора и рифмоплета местами – тогда бы Сибирь превратилась в самую густонаселенную провинцию Российской Империи.

Разделаться с армией можно было за несколько лет – беспорочная служба, унтер-офицерские нашивки, потом прапорщицкая звездочка и прошение об отставке. Офицеры, пишет Тарас княжне Репниной, «меня, спасибо им, все принимают, как товарища».

О николаевской армии любят рассказывать фантастические ужасы. Между тем, в Новопетровском укреплении Шевченко, хотя и жил в казарме, но, по протекции доктора, спал не на нарах, а на отдельной кровати. При построении всегда стоял в задней шеренге. На тяжелые работы его не посылали. Сослуживцы с иронией называли Тараса Григорьевича «привилегированным солдатом». Некоторое время он вместе с комендантом даже увлекался новым тогда делом – фотографией – и через своих друзей заказывал для этой экзотики различные приспособления.

Никто не отрицает, что, благодаря царской приписке на полях приговора, ему «строжайше» запретили писать и рисовать. Но никто не станет отрицать и того, как в России умели выполнять различные указания! Даже царские.

Рядовой Алексей Груновский, служивший в Новопетровском писарем, вспоминал о тяжелой участи Тараса Григорьевича так: «Хотя сначала ему и запрещали многое, но это недолго, года полтора, а потом все разрешили: и писать, и рисовать, и ездить на охоту». В том же духе вспоминал и капитан Косарев: «Когда было разрешено Шевченко писать и рисовать, тогда он со многих офицеров снимал портреты, в том числе и с меня»...

Рисовал портреты он за деньги и вообще открыл широкую торговлю произведениями живописи собственноручного изготовления. В этом ему деятельно помогал приятель – некий Бронислав Залесский, тоже выслужившийся в офицеры ссыльный поляк. «Продавал я их обычно в Оренбурге, но иногда шли даже на Украину», – писал Залесский о рисунках

Шевченко. Делать это, конечно, приходилось конспиративно. Но чего не сделаешь ради друга?

В это трудно поверить, но иногда разгильдяйство в николаевской армии достигало фантастических размеров. К удивлению императора, оказалось, что первые три года Тарас Григорьевич прослужил... не принимая присяги. В суматохе, а, может, на радостях от того, что в Оренбург прибыла столичная знаменитость, об этом как-то забыли. А во время экспедиции на Аральское море Шевченко и вовсе одичал – оброс бородой, смушковой шапкой и какой-то свиткой. Начальство настолько смотрело на все его проделки сквозь пальцы, что командовавший фортом Раим добродушный подполковник Матвеев (тоже, кстати, из простых казаков!) простил Шевченко даже пьяную истерику, когда тот в глаза при других офицерах называл его «бурбоном», «палачом» и желал ему вместе со всей крепостью провалиться в бездну.

По возвращении из экспедиции Тарас и вовсе поселился на частной квартире в Оренбурге у своего друга, штабного офицера Оренбургского корпуса Карла Герна. Тут, по свидетельству Лазаревского, поэта просто «на руках носили». С военной формой он почти расстался. Летом носил парусиновый костюм. Зимой – драповое пальто. Бывал на приемах у самого оренбургского генерал-губернатора Обручева и, несмотря на «строжайшее» запрещение царя рисовать, написал портрет генеральской жены, которая вместе с мужем по семейному плюнула на всякие там царские строгости.

Такая жизнь под покровительством высоких особ могла бы продолжаться вечно, если бы в ее мирное течение не вмешался сам Шевченко. К жене капитана Герна стал клеиться переживавший период юношеской гиперсексуальности двадцатилетний прапорщик Николай Исаев – кстати, уроженец Полтавщины. Интимные встречи влюбленной пары глубоко взволновали чуждое зависти сердце поэта. Поведением госпожи Герн Шевченко возмущался до бешенства и грозил, что не даст ей «безнаказанно позорить честное имя уважаемого человека». Предусмотрительный друг Федор Лазаревский убеждал поэта не вмешиваться не в свое дело, но в том внезапно проснулся дух частного сыщика и никак не хотел успокаиваться.

В Страстную Пятницу 25 апреля 1850 года «детектив» Шевченко, гениально предвосхищая методы будущей полиции нравов, выследил неверную жену и ее ухажера и привел домой Карла Герна, после чего друзья, объединившись, храбро выставили прапорщика за порог.

По сути, это было стукачество, но ни один из биографов Кобзаря до сих пор не решился назвать вещи своими именами. Зато все они дружно называют доносчиком Исаева, подавшего на следующий день генералу Обручеву рапорт о том, что рядовой Шевченко нахально разлагается на царской службе и разлагает остальных, разгуливая по городу в цивильном прикиде и балуясь стишками, несмотря на императорский запрет.

По мне же, и Шевченко, и Исаев – вполне достойны друг друга. Стукач-самовольщик столкнулся со стукачом-законником и так треснулись лбами, что только искры посыпались!

Стиснутый дисциплиной Обручев был вынужден дать делу ход. Оно дошло до царя. Как ни странно, Николай I не стал сгонять на Шевченко злость! На докладе шефа жандармов император собственноручно приписал: «В этом более виновато его начальство, что допускало до сего». Тарас Григорьевич всего лишь отсидел на гауптвахте, сколько положено, и был отправлен в Новопетровское укрепление стоять в карауле и лежать под вербой.

Впрочем, что это был за караул, хорошо объясняют воспоминания хорунжего Савичева. Тарас как-то пригласил его с собой «на флагшток» скоротать вечернюю смену с восемью до двенадцати. Пост это был чисто символический – торчавшая над отвесным обрывом башенка, построенная дабы защищать часового от жары и стужи. Шевченко тут же засунул в нее ружье и уселся на заборчик. О чем они беседовали, хорунжий не помнит – «Наверное, ни о чем особенном», – пишет он. Но когда на гауптвахте пробило полночь, бравый солдат объявил, что на смену ему все-равно никто не придет и, прихватив ружье, отправился в казарму. «Тогда было время тихое и безопасное, – вспоминает Савичев, – поэтому некоторые

суровые требования по службе, в укреплении были излишни».

Потом наступили времена еще тише и безопаснее. А с приездом в крепость нового коменданта Ускова рядовому Шевченко вообще разрешили нанимать вместо себя в караул других, обычных рядовых, лишенных дара поэтического слова и не имеющих для истории выдающейся духовной ценности. Этим он, без сомнения, способствовал становлению в Российской армии товарно-денежного оборота и замене в ней устаревших феодальных отношений на куда более прогрессивные капиталистические.

К тому же был старый проверенный способ налаживать отношения с ближайшим начальством. Шевченко открыл его еще зеленым новобранцем в Орской крепости: «Я купил очень много водки и весьма мало закуски, пригласил ротного командира и несколько офицеров на охоту и упоил их. С тех пор отношения наши сделались наилучшими, а когда угощение начинало забываться, я повторял его».

Можно было снова пустить этот прием в ход, но оказалось, что в Новопетровском в нем нет необходимости. Скучающие прапорщики сами набивались в собутыльники! Несчастный поэт просто изнемогал от такого неумеренного либерализма, жалуясь в дневнике: «Придется, во избежание гауптвахты с блохами и клопами, знакомиться со вновь прибывшими офицерами и в ожидании будущих благ пьянствовать с ними. Мрачная отвратительная перспектива!»

Обедал он теперь в доме коменданта крепости майора Ускова. прогуливался с его женой, а воевал в основном с курами, мешавшими спокойно спать на огороде. Этим подвигам имеется любопытное свидетельство в шевченковском дневнике: «Если б не проклятые курчата меня разбудили, я непременно бы увидел еще кого-нибудь из дорогих моих друзей. Счастлив ты, храбрый молодец, что не попался мне под руку, а то бы я оторвал смелую голову, чтобы ты знал, как клевать доброго человека, когда он спит и видит во сне такие отрадные, милые сердцу лица».

Простые солдаты принимали Шевченка за родственника коменданта, отъедающегося на казенных харчах, а земляк поэта, рядовой Обеременко, даже признался: «Я сам бачу, що мы свои, та не знаю, як до вас прыступыты. Бо вы все то з офицерамы, то з ляхама тощо. Як тут, думаю, до его пидийты. Може воно и сам який-небудь лях, та так тилько ману пуска».

Тарасу Григорьевичу стоило большого труда убедить земляка, что он «никакй не лях», после чего они сдружились и завели полезнейшую для здоровья привычку перекусывать отдельно от остальных в яру бараниной с водкой.

Как же так получилось, что мы упорно не обращаем внимания на все эти забавные подробности, помня только несчастного интеллигента, десять лет вышагивающего с ружьем на плацу? Отгадка проста. Шевченко обладал феноменальной способностью выдавливать слезу как из современников, так и из их потомков. И в этом он действительно проявил недюжинный, титанический талант.

Но только собственная нерасторопность, лень и полная неспособность вырваться из тисков судьбы не дали ему расквитаться с военной службой за три-четыре года. Вместо этого Тарас предпочел прибегнуть к испытанному способу – покровительству высоких особ.

«Не каюсь?» Еще и как каялся!

«Караюсь, мучуся... але не каюсь!» – эти строки стали хрестоматийными. А по сути они просто ложь. Каялся! И еще как! От души! По всем правилам! «Ваше сиятельство! – взывает он в письме от 12 апреля 1855 года к графу Федору Толстому. – К Вам как к представителю изящных искусств и вице-президенту Императорской Академии художеств, покровительства которой я так безрассудно лишился, к Вам прибегаю я с моею всепокорнейшею просьбою».

Чувствуете, как прихватило? До печенок! А ведь совсем недавно ему хотелось, чтоб «не осталось сліду панського в Україні». Теперь он почти целует эти «панские следы»: «Обо мне забыли! напомним некому. <...> После долгих и тяжких испытаний обращаю к Вашему

сиятельству с моими горькими слезами и молю Вас, Вы, как великий художник и как представитель Академии художеств, ходатайствуйте обо мне у нашей высокой покровительницы. Умоляю Вас, Ваше сиятельство!

Еще прошу Вас: напишите несколько слов о моем существовании его высокопревосходительству Василию Алексеевичу Перовскому, судьба моя в его руках, и только его представление может быть действительно».

Жене графа Толстого Шевченко кается еще унизительнее: «... уже девять лет. как казняю я за грешное увлечение моей бестолковой молодости. Преступление мое велико, я это сознаю в душе».

А молодому царю, Александру II, узнав, что хлопоты семьи Толстых увенчались успехами, готов не отказывать даже в самых человечнейших качествах! «Добрый цар наш уже дав приказ розбивать мої кайдани», – рапортует растроганный поэт своему другу атаману Черноморского казачьего войска Кухаренко.

Впрочем, Тарас всегда быстро менял свое мнение. Некогда он так высказался о человечестве:

Кругом мене, де не гляну
Не люди, а змії...

А скоро уже самому себе казался ползучим гадом:

Я – неначе лютая змия
Розтоптана в степу здихає

Пройдет совсем немного времени, и на радостях от пьянящей свободы, Шевченко опять, как в молодые годы, будет поносить царицу, называя ее «сукой» и требовать срочно оросить «кайданы» кровью. Хочу напомнить: живи он в современной Англии, его обязательно привлекли бы к суду за оскорбление королевы – ибо на цивилизованного человека он не тянет даже по современным меркам.

Но тогда он кается. Более того – идет на Компромисс с так ненавидимой им российской действительностью. И даже не на компромисс, а на сдачу. Попросту поднимает руки.

В 1858 году Шевченко пишет повесть «Прогулка с Удовольствием и не без морали». Советские и постсоветские украинские литературоведы шарахаются от нее, как черти от ладана.

Хотя это действительно превосходная повесть. Лучшая в творчестве Шевченко. Вот только написана она по-русски и так, славно ее не бесноватый Тарас писал, а кто-нибудь другой – нормальный и самоироничный: «Я порядочный человек и с препорядочной лысиной, а не гусар и не донжуан какой-нибудь».

В очередной раз в «Прогулке с удовольствием» перебирает создатель «Катерины» свой подзасалившийся пасьянс. Да только карты ложатся по-иному. Оптимистически. Ротмистр Курнатовский не соблазняет свою крепостную, а... женится на ней. И вообще он, по словам Шевченко, «прелесть мужик».

Крепостник, барин, но «прелесть»! А перекрашенная Катерина, которую теперь зовут Еленой, не топится и не сходит с ума, а счастливо выходит за Курнатовского замуж. Хеппи-энд. Америка. Голливуд, а не киностудия им. Довженко.

Но и все остальное одним махом вывернуто наизнанку, как косматая вурдалачья шкура, превращенная в мирный кожух.

«Село неначе почорніло»... Нет в «Прогулке» такого села!

Вместо него другое: «Село хоть куда. Хаты большие, не пошатнувшиеся в разные стороны, как пьяные бабы на базаре. Чистые, белые, нередко с светлицами и почти все окруженные темными фруктовыми садами, клуниями и стогами разного хлеба. И скотины разной также немало выгоняют из дворов на выгон свежие, здоровые девки, в новеньких

белых свитках, в красных и желтых сапогах на вершковых подковах. Везде все чисто и опрятно, так что хоть бы и в казенном имении так впору».

И российские войска теперь для Шевченко «наши». И тоска – «наша русская». И даже Колювщину считает он отныне не чем иным как «Варфоломеевской ночью», событием, «недостойным памяти человека», да еще и добавляет, что, если у других наций подобные «кровавые трагедии» разыгрывались «по воле одного какого-нибудь пройдохи, вроде Екатерины Медичи», то у наших покойных земляков «были делом всей нации». То есть, следуя новой шевченковской логике, получается, что нация из одних только пройдох и состояла.

Что нужно было нашему вурдалаку, чтобы так кардинально изменить «грешным увлечениям бестолковой молодости?» Изменить вплоть до того, что даже крепостную дворню, к которой сам некогда принадлежал, он теперь чисто по-барски назовет «ленивой и избалованной»?

Да, в сущности, почти ничего. Мелочь. Всего лишь десять лет подряд пропьянствовать с господами офицерами, изучая в упор их симпатичные усатые морды, повалиться на солнцепеке под караулом распитых бутылок да попасться за столом у добряка коменданта. И тогда сами собой сорвутся с кончика пера вдохновенные строки: «Неблагодарный!<...> Ежели ты попрал священные узы родства и дружбы, то вспомнил бы вчерашний обед. Вспомнил бы, кому ты обязан гостеприимством. Вспомнил бы, против кого ты ухищряешься, на кого ты руку поднимаешь¹⁸».

И он вспомнил.

И на мгновение опустил руку с топором.

Но только на мгновение.

В когтях крепостных помпадурш

В описи вещей, оставшихся после смерти Шевченко, среди карманных часов и семи подштанников обращает на себя внимание солидный дамский гардероб – шерстяная клетчатая плахта, поддевка, юбка, два женских пальто («одно драповое серое, а другое такое же белое, обшитое с золотым снурком») и даже три пары «бумажных» чулок¹⁹.

Спрашивается: зачем понадобилось все это добро представителю сильного пола, коим являлся Тарас Григорьевич? Может, он был трансвеститом и, устав от непрерывного революционного горения, расслаблялся, разгуливая наедине с собой в чулках, поддевке и в одном из вышеупомянутых пальто? По будням – в простом драповом, а по воскресеньям – в парадном белом «со снурком»?

Спешу успокоить разгорячившихся консерваторов – доказательств этому мною пока не обнаружено. Да и странно было бы ожидать наклонностей к переодеванию от такого крепкого ширококостного мужика с демонстративными усищами – неубедительная внешность была у Тараса Григорьевича для типичного трансвестита.

Тогда, возможно, Шевченко собирался подарить заботливо подобранный гардеробчик сестрам? Тоже сомнительно. Сестер у Кобзаря значилось две. А три пары чулок на два никак не делятся. Да и зачем нужны были эти изящные предметы простым сельским бабам?

Тогда что же сей загадочный перечень значит?

А вот что!

Незадолго до смерти Шевченко в очередной раз влюбился и собирался жениться. Но та, которая стала его избранницей и на которую в порыве страсти он обрушил поток даров, изменила ему. И тогда как истинный практичный джентльмен Тарас забрал все назад, прокомментировав: души моей не было жаль для нее, а теперь жаль нитки²⁰.

18 Т. Г. Шевченко. Прогулка с удовольствием и не без морали.

19 Опись имущества Тараса Шевченко, описанного по предписанию 1-го департамента управы благочиния, от 14 марта 1861 года за № 4614, по случаю смерти Шевченко.

20 Наталка Полтавка. Спомини про Т. Шевченка. В кн. Спогади про Тараса Шевченка. Київ, 1982.

Но давайте все по порядку.

На закатных романах Лермонтова и Пушкина лежит отблеск трагедии. Соперничество с де Барантом из-за княгини Щербатовой привело автора «Героя нашего времени» к дуэли и ссылке на Кавказ, где его поджидала пуля Мартынова. Ревность к Дантесу поставила кровавую точку в бегущей вприпрыжку пушкинской жизни.

Зато последние влюбленности Шевченко читаются, как «малороссийская» комедия с галушками под аккомпанемент веселой народной песни: «Ой під вишнею, під черешнею стояв старий з молодою, як із ягідкою...» Что-то вроде «Наталки Полтавки», где, как ни странно, роль одураченного Возного досталась... Великому Кобзарю. Упрямая, не вписывающаяся ни в какие схемы действительность словно посмеялась над излюбленными философскими построениями Тараса Григорьевича.

Всю жизнь Шевченко преследовал сюжет о соблазненной нехорошим баринем крепостной праведнице. Впервые он всплыл в «Катерине», а потом раз за разом будет выныривать то в стихах, то в прозе, как надоедливый сорняк. На первый взгляд непонятно, почему во всем виноват ловелас-офицер. Силой он наивную Катю за порог не тащил, белых ручек ей за спину не заламывал, на соломе не насиловал. Произошло все по взаимному согласию. Но Шевченко, не вдаваясь в психологические нюансы, винит в блуде только проклятого дворянина и не задумывается, что селянка, наверное, просто тщеславно надеялась стать барыней, скакнув в благородное сословие прямо с душистого «батьківського» сеновала.

Все становится ясно, если предположить, что поэта просто давила зависть к удачливому сопернику-аристократу. А потому, мучаясь комплексом сексуальной неполноценности, Тараса Григорьевич наделяет его чуть ли не чертячьей шкурой – а бычьей так точно:

Паничі...
Свого весілля дожидали
Та молодих дівчат в селі,
Мов бугаї, перебирали.

В жизни же подобные сюжеты оборачивались часто счастливой развязкой – и благодетель Шевченко, поэт Жуковский и даже сам барин его Павел Энгельгардт от рождения были незаконнорожденными – байстрюками, но добрые дворянские папаши не дали им подохнуть под забором.

Всего этого идеалист Тарас почему-то не замечает. К тому же примерно в 1858 году он окончательно разочаровался в интеллигентных барышнях и ему со всем пылом поэтической души вдруг захотелось простую бабу – грубую, потную, но зато покорную и влюбленную, как дура. Причиной перерождения послужил неудавшийся роман с пятнадцатилетней актрисой Катенькой Пиуновой.

Шевченко увидел ее в Нижнем Новгороде в пьеске «Москаль-чаривныйк». На поэта, свихнувшегося на всем национальном, украинская плахта Катеньки подействовала, как вывешенные сушиться дамские панталоны – на распаленное воображение фетишиста. Шестого января он совсем раскис и восторженно записал в дневнике: «Пиунова сегодня в роли Простушки (водевиль Ленского) была такая милочка, что не только московским – петербургским, парижским бы зрителям в нос бросилась. Напрасно она румянится. Я ей скажу об этом. С роли Тетяны (в «Москаля-чаривныке») она видимо совершенствуется, и, если замужество ей не попрепятствует, из нее выработается самостоятельная великая артистка».

Логическим следствием этого мудрого вывода стало для Кобзаря почему-то предложение выходить за него замуж. Наверное, он все-таки не очень хотел, чтобы из Катеньки «выработалась» великая артистка. Но та подумала, артистично покрутила хорошеньким носиком, почитала вместе с Тарасом Григорьевичем любовные стишки, да и потихоньку съехала с темы, вызвав у поэта гневную запись в дневнике: «Дрянъ госпожа Пиунова!»

18 марта в Москве Шевченко уже засматривается на молоденькую жену историка Максимовича: «И где он, старый, антикварий, выкопал такое свежее чистое добро? И грустно, и завидно». Хотелось себе такого же. И тогда в гениальной голове батька нации вызрел фантастический план – раз панночки меня не хотят, на зло всем женюсь на крепостной!

Впервые в полном объеме проект этот созрел в письме к дальнему родственнику, тоже носившему фамилию Шевченко – Варфоломею, хлопотавшему, кстати, и о покупке хаты для Кобзаря: «Чи сьак, чи так, а я повинен оженитися, а то проклята нудьга скине мене з світа».

В качестве невесты Тарас подобрал служанку Варфоломея – некую Харитину Довгополенко, которую видел только мельком: «Чи Хариту ще не приходив ніхто з нагаєм сватать? Якщо ні, то спитай у неї нишком, чи не дала б вона за мене рушників. <...> Ярина сестрі обіцяла найти мені дівчину в Керилівці; та яку ще вона найде? А Харитина сама найшлась».

Рассудительного Варфоломея, выбившегося в люди из простых крепостных, предложение это повергло в ужас. Тарасу он ответил: «Чоловік ти письменний. Діло твоє таке, що живучи над Дніпром на самоті з жінкою, часом може треба б похвалитися жінці, що оце мені прийшла така и така думка, то оце я так і так написав, та и прочитать їй. Що ж вона скаже?»

Однако эти вполне разумные доводы Кобзаря не смутили: «Забув ти ось що: я по плоті й духу син і рідний брат нашого безталанного народа, так як же себе поеднати з собачою панською кровью?»

С сентября 1859 года по самый июнь 1860 в каждом письме к родственнику Тарас Григорьевич требует, чтобы жена Варфоломея уговаривала Хариту выйти за него замуж. Но пока шла эта дипломатическая переписка, бойкая селянка успела завести себе другого ухажера. В мае Варфоломей радостно отрапортовал Кобзарю, что Харита «зробилась грубіянка, без спросу шляється, завела романси з писарем... отака історія». В ответ на это Шевченко только философски заметил: «Шкода, що ота Харита зледащіла, а мені б луччої жінки і не треба».

Однако писарь дурной девке нравился все-таки больше, за него она впоследствии и вышла. Поэта же «мадмуазель» Довгополенко просто боялась, считая «паном», и подозревала, что выкупив из крепостничества, он «закрепостит» ее на весь век. А ведь так хочется «погуляти».

После такого фиаско, казалось бы, можно и поостыть, но прекраснотушный автор «Катерины» уже нашел себе новый предмет страсти. Причем, прямо в Петербурге. Мать его знакомого Николая Макарова привезла в северную столицу из Нежина некую Лукерью Полусмакову.

По свидетельству Тургенева, это была молодая, свежая и неотесанная девка с чудесными русыми волосами, не очень красивая, но по-своему привлекательная. На лето ее отдали в прислугу жене Пантелеймона Кулиша, жившей на даче в Стрельне. Там нежинская девка проявила себя с лучшей стороны – вставала поздно, ходила нечесанной и неумытой. Вообще она была очень ленивой и неопрятной, к тому же любила деньги, сплетни и не очень берегла свою девичью честь, путаясь, с кем попало. Именно такую служебную характеристику выдала Тарасу Александра Кулиш, когда тот пришел свататься к ее прислуге.

Но все это не смутило народолюбца-теоретика и он даже передал будущей невесте букварь и крестик, который та, убедившись, что он не золотой, выбросила на помойку.

30 июля 1860 года поэт лично появился в Стрельне, торжественно неся букет полевых цветов. Шевченко попросил Лукерью выйти в сад и, уединившись в беседке, приступил к долгому разговору. По всей видимости, зрелище было довольно комическое, так как вся дворня ходила мимо забора и смеялась. По крайней мере, у Александры Кулиш, на свадьбе которой молодой поэт был когда-то боярином, сердце разрывалось на части при виде этой картины, а вся округа уже через полчаса знала от Лукерьи об одержанной ею победе и о том, что она сомневается, идти замуж или нет.

Шевченко накопил ей тканей, шляпок, туфель, перстней, белья, серег с медальонами, кораллов, Евангелие в белой оправе с золотыми краями, дорогого белого сукна казакин, стилизованный под украинскую свиту, серое пальто. Сам сделал для нее записную книжечку с рубриками прихода и расхода. На весь этот идиотизм только за один день 3 сентября было потрачено более 180 рублей! Любивший приbedниться Тарас, с тридцати четырех лет называвший себя не иначе как стариком, бегал теперь по Петербургу, как одуревший от страсти молодой бизон из сводолюбивых Соединенных Штатов, которые он так любил, ожидая оттуда нового «Вашингтона з новим і праведним законом». Все моральные изъязы своей избранницы он объяснил «рабством», – утверждая, – что воля и достаток изменят ее к лучшему.

Сама же невеста, не лишенная чувства прекрасного, много рассказывала, как они собираются устроиться, и, между прочим, что ее жених говорит, будто на Украине зимой скучно, а потому она будет ездить в Париж или Петербург, чтобы избежать тоски, проживая на собственном хуторе! «Вот как судьба потешается над людьми, – комментировала ситуацию одна из знакомых поэта – Лукерья в Париже!»

Тарас Григорьевич снял своей возлюбленной комнату на Офицерской улице, но та, совсем утратив чувство реальности, стала возмущаться, что квартира досталась ей без прислуги. Когда однажды Шевченко рассердился на беспорядок в доме, Лукерья бегала жаловаться знакомым, что не пойдет замуж за поэта. А когда ее спросили, как все будет, ответила:

– А так і буде, що заберу усе, що він мені дав, а за його таки не піду! Такий старий, поганий та сердитий!

Вся эта комедия закончилась в один день. Зайдя к Лукерьи в необычное время (может, что-то и заподозрив), Великий Кобзарь застал возлюбленную в пылких объятиях обыкновенного лакея, ни черта не смыслившего ни в поэзии, ни в национальных идеях.

Застигнутая на горячем, невеста храбро ответила: «Хіба ж би я за тебе, такого старого та поганого пішла, коли б не подарунки, та не те, щоб панією бути». По другой версии любовником «нежинской ведьмочки» оказался не лакей, а домашний учитель, специально нанятый поэтом для повышения образовательного уровня будущей супруги.

Финальную точку, однако, поставила сама наглая девка, на очередной припадок влюбленности Тараса ответившая безграмотной, но полной чувства собственного достоинства нотой: «...твоими записками издєсь неихто не мужаєца». Все подарки, на сумму около тысячи рублей, были у нее торжественно отобраны.

Крах народно-эротической утопии заставил Шевченко вновь попытать счастья у представительниц высших классов. Завидев как-то на мольберте портрет Лукерьи собственной работы, Тарас нервно схватил его и, швырнув на стол, сказал своему приятелю Черненко: «А що, Федоре! Як на твою думку: чи не поспробувати ще раз? В останнє? Не довелось з кріпачкою, з мужичкою, то може поталанить із панночкою...»

«Панночкой» оказалась сорокалетняя старая дева – давняя знакомая Кобзаря Надежда Тарковская, сестра богатейшего украинского помещика и коллекционера. Однако и тут поэта ждал жестокий отлуп. Разозленный Шевченко посвятил Тарновской следующий «лирический шедевр»:

Прокинься, кумо, пробудись,
Та кругом себе подивись!
Начхай на ту дівочу славу
Та щирим серцем, нелукаво
Хоч з псом, сердего, соблуди.

Трудно утверждать, подразумевал ли он под этим псом себя или обыкновенного Бровка, но отсылать в зоофильском виде «элегию» не решился и последнюю строчку заменил на более приличную: «Хоч раз, сердего, соблуди».

Ему так хотелось! Да все как-то не складывалось... Зато в теории это был настоящий пророк грядущей сексуальной революции!

Запорожский миф

Для тех, кто знаком с историей только по «Кобзарю», бесспорно, что с ликвидацией Запорожской Сечи загнулось и украинское казачество. Помню, как сам я в детстве едва не рыдал от горя, ну, почему Екатерина так несправедливо обошлась с запорожцами? Вот донцов же оставила? И о них даже в романе «Тихий Дон» прочитать можно... А наших, чубатых, куда подевала? Точно: «вража мати».

«Версия» Шевченко была обязательной для советской школы. Так же, как сегодня – для украинской. Другим – места не находится.

Но как тогда объяснить загадочный пассаж из письма Тараса Григорьевича атаману Кухаренко от 15 августа 1857 г.: «Думаю я, їдучи в столицю, завернуть до вас на Січ»...

Сечь более чем через восемьдесят лет после ее уничтожения? В России – тюрьме народов? Возможно ли это? Оказывается, возможно.

Сначала давайте разберемся с тем, что обычно называют «уничтожением». Ни один (подчеркиваю, ни один!) запорожец при этом не был убит, ранен или покалечен – то есть, «уничтожен». Возможно, что в суматохе кто-то получил по морде, но на Сечи так часто и с таким смаком давали по морде, что уставшая история в конце концов перестала фиксировать подобные мелочи. По-настоящему пострадали трое – кошевой Петр Калнышевский, писарь Глоба и судья Павло Головатый (Не путать с другим Головатым – Антоном, стараниями которого Запорожское войско было восстановлено).

Всех троих сослали в монастыри. Калнышевского – на Соловки. Остальных – в Сибирь.

Почему именно их?

Потому, что с 1767 года петербургское правительство подозревало кошевого в двойной игре в пользу Турции. Именно тогда полковой старшина Савицкий написал докладную или донос (как кому больше нравится) о том, что Калнышевский собирается поддаться султану и даже приказал казакам быть готовым к походу на Россию. Правда, вскоре атаман передумал, а во время восстания голытьбы на Сечи даже дал деру под защиту царских войск²¹. Но в год ликвидации Сечи старую «шаткость» ему припомнили. Судья и писарь пошли по делу как «сообщники».

О строгости режима на Соловках можно судить по тому, что после опалы Калнышевский прожил еще 28 лет и умер в 1803 году – столетним²².

Можно ли было обойтись с ним еще мягче? Наверное, да. На дворе все-таки стоял Век Просвещения. Но мог бы и Савицкий держать язык за зубами – не к лицу, знаете ли, настоящему запорожцу строчить «докладные» куда попало.

А что же с остальной старшиной? Заставили пахать степь на Потемкина? Перепороли на радостях поголовно по врожденной московитской склонности к зверству? Не угадали. Их «репрессировали» – то есть, приравняв к российскому дворянству, наделили армейскими чинами и землей. Причем, землю оставляли ту, которой владели до «ликвидации». А кому не доставало до положенных на дворянское рыло полутора тысяч десятин, еще и прирезали! Чтoб не обидно было. Некоторые «по знакомству» не остановились даже на полутора тысячах. Атаман Вершацкий, например, оттяпал себе на Днепре 7950 десятин. Атаман

21 Упомянутый эпизод относится к 1768 г., памятному Колиивщиной. Калнышевский не только бежал, переодевшись монахом в Новосеченский ретраншемент, где стоял русский гарнизон, но и, вернувшись, подверг «колыбель вольности» артиллерийской бомбардировке. Украинские историки почему-то не попрекают кошевого за его «шалости», предпочитая отыгрываться на царском генерале Текелие, ликвидировавшим Сечь «подомашнему», без единого выстрела.

22 Слепить из Калнышевского очередного «героя» не удалось при всем старании. На Сечи его не любили за привычку выдавать политических противников на расправу царскому правительству и махление с нормами казацкой демократии. Украинский историк Адриан Кашенко даже заметил как-то, что на Старой Сечи такого кошевого «вкинули б у річку».

Кирпан – 11912. А есаул Пишмич «приватизировал» почти двенадцать с половиной тысяч²³! Так что, Сечь, как говорится, приговорили ко всеобщему удовольствию. Многие прибархлившиеся «братчики» даже облизывались на радостях.

Простые же экс-сечевики, по замыслу Потемкина, должны были по доброй воле поступить в гусарские и пикинерские полки. Но тут он явно недооценил тот исторический фактор, который сам Шевченко называл «невозмутимым хохлацким упрямством». Служить в каких-то там гусарах запорожцы явно не желали, не в силах расстаться с шароварами ради узких рейтуз.

Вместо этого часть казаков дала деру за Дунай, а остальные разбрелись по плавням, таская из тины карасей и дожидаясь очередной перемены политического курса.

В конце концов «хохлацкое упрямство» dokonало даже неукротимого екатерининского орла. Шестого апреля 1784 года Потемкин, предвидя очередную войну с турками, добыл разрешение императрицы обновить Войско Запорожское «на манер Донского», чтобы не оставлять южные границы империи распахнутыми, как ворота корчмы.

Поначалу оно так и называлось – «Верное Запорожское Войско». А потом получило новое название – Черноморское. Потемкину же достался диковинный титул Гетмана казацких войск Екатеринославских и Черноморских. Так что, последним нашим гетманом был именно он – даже умер на руках черноморцев из своего конвоя.

В 1792 г. после победоносной турецкой войны, в которой казаки героически захватили крепость Хаджибей на месте нынешней Одессы и со стороны Дуная ворвались в Измаил²⁴, Екатерина II пожаловала черноморцам в вечное владение Кубань, отобранную у ногайских татар Суворовым. Бывшие запорожцы получили гигантский шмат целинной земли, удивительно похожий на тот, которого их некогда лишили, и право войскового управления. Все ТРИДЦАТЬ ВОСЕМЬ запорожских куреней ПОД ТЕМИ ЖЕ названиями были перенесены на Кубань!

Именно тогда судья Антон Головатый, вырвавший из царских рук эту милость, сложил знаменитую песню «Годі нам журитися, пора перестати».

Знал ли об этом Шевченко? Конечно же знал!

В первом издании «Кобзаря» были даже откорректированные потом строки:

Наш завзятий Головатий
Не вмере не загине:
От де, люди, наша слава,
Слава України²⁵.

И не только знал! Если бы он действительно хотел вести так ценный им казачий образ жизни, то для этого в его время существовали все возможности. Достаточно было всего лишь записаться в Полтавский, Каневский или, если уж так угодно, Уманский курень Черноморского войска и с утра до вечера до посинения, до одури, до кровавых черкесских мальчишек в глазах ползать на брюхе по кубанскому пограничью, выслеживая басурмана.

Конечно, эту реальную казачью жизнь никак нельзя было сравнить по комфорту с петербургским порханьем вольного художника. Но десятки тысяч тогдашних украинцев именно ее и выбрали. Только официально за первую половину XIX столетия на Кубань с Украины переселилось около 130 тысяч человек!

И для этого вовсе не обязательно было ходить в лучших друзьях у атамана Кухаренко. Вольный доступ в казачье войско был прекращен только по окончании Кавказской войны. Но ее хватило на целых шестьдесят лет! Даже Шевченко не дожил до ее окончания. Фактически

23 Н. Полонська-Василенко, Південна Україна після зруйнування Січі, С. 119

24 В суворовском рапорте о взятии Измаила рядом с полковником Головатым, командовавшим черноморцами, значится и имя одного из предков будущего шевченковского пана – Смоленского драгунского полка подполковника Энгельгардта, поражавшего неприятеля «с отменною храбростию».

25 Впоследствии по совету Кулиша строчка «Наш завзятий Головатий» была заменена другой: «Наша дума, наша пісня»...

к тому времени все, что хотело на Украине оказаться – дернуло на Кубань.

И только один стихотворец, отнюдь не спеша приобщиться к тяготам походной жизни, печально блуждал в мечтах за пустынными днепровскими порогами и время от времени притворно вздыхал: «Нема Січі...»

А тайком пописывал Кухаренко. «Думав я завернуть на Січ...»

Что же, все-таки не завернул?

Имперский гимн Котляревского

Но есть писатель, опровергший слезливый шевченковский миф еще до его рождения – Котляревский. В отличие от остальной украинской литературы, он принципиально мажорен. Не плачет у него Украина, не ревут волю, не помирает бедный Грыць, не волокут черт-те куда татары Роксолану. Всей этой сопливой каши у Котляревского нет и быть не может. Наоборот!

Превратили в кучу дерьма Трою? Ну, и бес с ней! Посмолим чайки и в море – искать новую.

Дидона от любви сгорела в буквальном смысле? Дура-баба. Другая будет лучше.

Много народу положили ради победы? Что ж, вечная слава героям.

Для Шевченко вхождение Гетманщины в Империю – вечный повод к трагедии. А у Котляревского то же событие породило «Энеиду» – самое веселое произведение из когда-либо написанных по-украински.

Правда, в советскую эпоху Котляревского пытались кое-как приспособить к коммунистической идеологии, превратив в эдакого «прото-Шевченко», высмеивающего «панів» с позиций народа. Приспособление шло плохо – Котляревский и сам был пан. Имел восемь душ крепостных. Служил в кавалерии, за десять лет пройдя от рядового до капитана. Воевал с турками. Орден св. Анны получил за склонение «татар буджакских быть приверженными к России». Был приятелем всех малороссийских генерал-губернаторов – от Куракина до Репнина. Бриллиантовый перстень получил из рук Александра I. Великий князь Николай Павлович (будущий Николай I), проезжая через Полтаву, пожелал получить для себя два экземпляра «Энеиды».

К тому же двери ада у Котляревского, в отличие от Шевченко, открыты всем без социальных различий.

Там всі невірні і христьяне,
Були пани і мужики,
Була тут шляхта і міщане,
і молоді, і старики;
Були багаті і убогі,
Прямі були і кривоногі,
Були видющі і сліпі,
Були і штатські, і воєнні,
Були і панські, і казенні,
Були миряни, і попи.

«Страждання народу в кріпацькій неволі» давно стало общим местом. При этом забывают очевидное. Так же, как украинский, страдал и русский мужик. И точно такими же привилегиями, как российский дворянин, обладал дворянин украинский. Это была не национальная, а дворянская империя. Как всякий подобный организм, она возникла из слияния двух элит – верхушки малороссийского казачества и петербургского правящего класса. «Брак» между ними был заключен в буквальном смысле – Алексей Разумовский разделил постель с дочерью Петра Великого (того самого, «що розпинав нашу Україну», по словам Шевченка) и стал ее морганатическим мужем.

Впрочем, и все остальные империи возникают по подобному плану. Почти

одновременно с эпохальными событиями на восточнославянской равнине Англия заключает унию с Шотландией – возникает Великобритания. Полтора веками ранее Польша и Литва слились в единую Речь Посполитую. И даже Бисмарк создаст по тому же сценарию Германскую империю, соединив элиты Пруссии и Германских княжеств.

У Котляревского, одевшего своих героев в мешанину из античных и современных одежд, троянцы сливаются с латинянами, давая начало будущему Риму – зеркальное отражение событий, спаявших Гетманщину с Петербургом.

Процесс этот был абсолютно закономерен. Сама по себе Гетманщина оказалась слабосильным неконкурентоспособным организмом. Крымское ханство в ее времена начиналось под Запорожьем. Граница с Польшей проходила сразу за Киевом по речке Ирпень – бегать далеко не надо. Необходим был союз для решения внешнеполитических проблем. И он удался!

К тому времени, когда Котляревский засядет за «Энеиду», все было уже иначе – и Речь Посполитая, и Крым просто перестали существовать под ударами единой восточнославянской империй. Победоносному офицеру императорской армии Ивану Котляревскому, на глазах и при участии которого свершилось это чудо, останется только снисходительно пошутить: «Як вернется пан хан до Криму» и «до лясу, як ляхи метнулись». В выражениях он не стеснялся и симпатий не скрывал. Горе побежденным!

В пророчестве Юпитера в начале «Энеиды» содержится разгадка того, о чем на самом деле эта поэма:

Еней збудує сильне царство
і заведе своє там панство:
Не малий буде він панок.
На панщину весь світ погонить,
Багацько хлопців там наплодить
і всім їм буде ватажок.

XVIII век смотрел в античность, как в зеркало. Всемирное Государство римлян для него – прообраз всех будущих империй. Как человек наблюдательный, Котляревский отмечает параллели в украинской и римской истории. После поражения под Берестечком казаки оставляют Польше Правобережье, аналог чему в «Энеиде» – гибель Трои. Украинцы мигрируют на Слобожанщину, входившую в состав России – в поэме Эней с товарищами отправляется к царю Латину. Отношения с местной властью складываются непросто – порой доходит и до мордобоя. Но в результате Латин и Эней заключают союз, который принесет их потомству мировое господство и потерянную Троию, а казацкая старшина приобретает права российского дворянства и в союзе с ним возвращает при Екатерине II Правобережье, повергнув Польшу. Аналогия более чем очевидна.

Процесс, конечно, шел не без трений. Чему у Котляревского тоже есть свидетельство в водевиле «Москаль-чарівник». Спорят вояка откуда-то из центрально-русских губерний и украинский крестьянин:

Солдат. Ну, что и говорить! Вить вы – природные певцы. У нас пословица есть: хахлы никуда не годятся, да голос у них хорош.

Михайло. Нікуди не годяться? Ні, служивий, така ваша пословиця нікуди тепер не годиться. Ось заглянь у столицю, в одну і в другу, та заглянь в сенат, та кинь по міністрах, та тогді і говори – чи годяться наші куди, чи ні?

Если кинуть «по министрам», то расклад вот каков. Украинцами были: канцлер Безбородко (руководил внешней политикой, подписал знаменитый Кучук-Кайнарджийский договор, по которому северное Причерноморье отбиралось у Турции), канцлер Кочубей (подвизался на том же поприще), Трошинский (министр юстиции), Гудович (глава Государственного совета), Миклашевский (сенатор) и т. д.

Можно было бы посоветовать солдату заглянуть и в генералитет. Там бы он увидел еще

двух земляков Ивана Петровича – фельдмаршала Паскевича, усмирителя Польши, и однофамильца поэта – Петра Котляревского, «генерал-метеора», отразившего на Кавказе персов в тот самый год, когда Наполеон стоял в Москве.

Некоторые реплики из водевиля в нынешней Украине хоть запрещай: «Теперь чи москаль, чи наш – все одно: всі одного батька, царя Білого, діти».

Нет, это была и наша Империя, что отразилось и в царском титуле – «всея Великая и Малая, и Белая». Точно так же, как в полном названии другой короны до сих пор красуется: «Объединенное королевство Великобритании, Шотландии и Северной Ирландии».

Ни замалчивать, ни стыдиться своего имперского прошлого у нас нет смысла. Оно было прекрасно.

Свидетельством чему – бессмертная «Энеида».

* * *

По вечерам я люблю выходить к памятнику Шевченко напротив Университета, носившего некогда имя князя Владимира. Тяжелый, с набыченной головой, с отвисшими усами, Тарас напоминает воскресший идол языческого Перуна. Именно этого бога сверг когда-то в Днепр креститель Руси. Почему-то никому в голову не приходит символическая связь между этими событиями. Имени Владимира Университет лишили большевики. Они же установили культ Шевченко и этот перуноподобный истукан в сквере. Они же по-гайдамацки щедро оросили Украину кровью. Древний Перун словно воскрес в культе Шевченко.

Живой Тарас всегда притягивал к себе энергию окружающих. О нем заботились. Его выкупали из крепостной неволи. Учили. Слали деньги. Вытаскивали из армии. Сам он не мог ничего. Нет ничего удивительного, что Украина теперь повторяет его судьбу, жалуясь, плача, кланя кредиты и ожидая чуда. Ведь для нее он тоже стал языческим богом. Как сказочный вурдалак, Шевченко по-прежнему пьет из нас энергию, требуя поклонения. Но он уже все сказал и ничего не знает о грядущем, кроме того, что «буде син, і буде мати, і будуть люди на землі».

Честно говоря, это и без него было известно. Пора взглянуть на этого человечка, чей рост был всего лишь 164 см, без искажающей масштаб подставки постамента.

Он был «мобилизован» большевиками почти сразу же после захвата власти. Памятник ему, как «великому деятелю социализма», был по распоряжению Ленина втиснут в Москве уже в 1918 году. Жестокость послереволюционной действительности превосходила все испытанное страной доселе. Поэтому новому режиму, расстрелявшему за тридцать лет поэтов больше, чем их родилось в России за три столетия царствования династии Романовых, понадобился миф, что где-то в далеком прошлом якобы бывали времена еще более жестокие. Что это за жестокость, старались не уточнять. Ибо невозможно, будучи в здравом рассудке, поверить, что три дня николаевской барщины – хуже ежедневной (без выходных!) работы в передовом сталинском колхозе. Как невозможно поверить и в то, что розги, которыми однажды, по приказу пана, угостили на конюшне Тараса, ужаснее ликвидации кулачества «как класса».

Нынешней Украине он нужен по той же причине. Когда зарплату не выплачивают месяцами, а в домах отключают свет, нет ничего утешительнее баек о крепостном праве, во времена которого света не было вообще. Между тем, военные потери всей Российской Империи «бездарного, реакционного» Николая I в Крымской войне (310 тысяч) в восемь(!) раз меньше, чем потеряла без всякой войны Украина за десять лет независимости.

Можно, конечно, сказать, что Шевченко в этом не виноват. Что он не жаждал обожествления. Что вдохновенно выводя в завещании: «І вражою злою кров'ю волю окропіте» он имел в виду что-нибудь совсем другое, какой-нибудь очередной поэтический образ, вроде клюквенного сока.

Но, господа, отчего же мы удивляемся, что у этой воли получилось такое омерзительное, заляпанное кровью лицо?

Скандальные воспоминания о Т. Г. Шевченко его современников

«Кобзарь» за счет крепостника (Эпизоды из жизни Шевченко по воспоминаниям Петра Мартоса)

Шевченко я знал коротко. Я познакомился с ним в конце 1839 года в Петербурге, у милого доброго земляка Е. П. Гребенки, который рекомендовал мне его как талантливого ученика К. П. Брюллова. Я просил Шевченко сделать мой портрет акварелью, и для этого мне надобно было ездить к нему. Квартира его была на Васильевском острове, состояла из передней, совершенно пустой и другой, небольшой, с полукруглым вверху окном, комнаты, где едва могли помещаться – кровать, что-то в роде стола, на котором разбросаны были в живописном беспорядке принадлежности артистических занятий хозяина, разные полуизорванные, исписанные бумаги и эскизы, мольберт и один полуразломанный стул, комната, вообще, не отличалась опрятностью: пыль толстыми слоями лежала везде; на полу валялись тоже полуизорванные исписанные бумаги, по стенам стояли обтянутые на рамах холсты – на некоторых были начаты портреты и разные рисунки. Однажды, окончив сеанс, я поднял с пола кусок исписанной карандашом бумажки и едва мог разобрать четыре стиха:

Червоною гадюкою
Несе Альта вісті.
Щоб летіли круки з поля
Ляшків-панків їсти.

Що се таке, Тарас Григорьевич? – спросил я хозяина – Та се, добродію, не вам кажучи, як іноді нападуть злидні, то я пачкаю папірець, – отвечал он. – Так що ж? Се ваше сочинение? – Эге ж! – А багато у вас такого? – Та є чималенько.

– А де ж воно? – Та отам під ліжком у коробці. – А покажіть.

Шевченко вытащил из-под кровати лубочный ящик, наполненный бумагами в кусках, и подал мне. Я сел на кровать и начал разбирать их, но никак не мог добиться толку.

Дайте мені оці бумаги додому, – сказал я, – я їх прочитаю. – Цур йому, добродію! Воно не варто праці. – Ні, варто – тут щось дуже добре. – Йо? чи ви ж не смієтесь із мене?

– Та кажу ж, ні. – Сількось, – возьміть, коли хочете; тільки, будьте ласкаві, нікому не показуйте й не говоріть. – Та добре ж, добре!

Взявши бумаги, я тотчас же отправился к Гребенке и мы, с большим трудом, кое-как привели их в порядок и, что могли, прочитали.

При следующем сеансе я ничего не говорил Шевченко об его стихах, ожидая, не спросит ли он сам о них, – но он упорно молчал; наконец я сказал:

– Знаете що, Т. Г.? Я прочитав ваші стихи – дуже, дуже добре! Хотите – напечатаю?

– Ой, ні, добродію! не хочу, не хочу, далєбі що не хочу! Щоб іще побили! Цур йому!

Много труда стоило мне уговорить Шевченка; наконец он согласился и я, в 1840 году, напечатал Кобзаря. При этом не могу не рассказать одного обстоятельства с моим цензором.

Это был почтенный, многоуважаемый Петр Александрович Корсаков.

Последняя пьеса в «Кобзарь» (моего издания) – «Тарасова ночь». С нею было наиболее хлопот, чтобы привести ее в порядок. Печатание приближалось уже к концу, а она едва только поспела. Поскорее переписавши ее, я сам отправился к Корсакову, прося его подписать ее.

– Хорошо! сказал он, – оставьте рукопись и дня через два пришлите за нею. – Нельзя, П. А. в типографии ожидают оригинала. – Да мне теперь, право, некогда читать. – Ничего – подпишите, не читавши; все же равно – вы не знаете малороссийского языка. – Как не знаю! – сказал он обиженным топом. – Да почему же вы знаете малороссийский язык? – Как же! Я в 1824 году проезжал мимо Курской губернии. – Конечно, этого достаточно, чтобы

знать язык, и я прошу у вас извинения, что усомнился в вашем знании, но, ей Богу, мне некогда ждать; пожалуйста, подпишите скорее, – повторяю, в типографии ожидают оригинала. – А что, тут нет ничего такого? – Решительно нет.

Добрый П. А. подписал; «Кобзарь» вышел.

В то время был в Петербурге Григорий Степанович Тарновский, с которым я познакомил Шевченко; а вскоре приехал Николай Андреевич Маркович, поссорившись с московской цензурой за свою историю Малороссии и надеясь найти петербургскую более снисходительную. Я свел его с добрейшим Петром Александровичем, и в тоже время познакомил с ним и Шевченко....

И вот Тарас наш развернулся, – завелись денежки, – начал кутить...

Я помню эти знаменитые, незабвенные оргии у одного из наших любимых в то время писателей, на которые попадал иногда и Тарас. – Весело, безотчетно весело жилось тогда!... Да и какие лица участвовали в них, и какие имена!... Но – иных уж нет, а те далече...

* * *

В письме Шевченко к редактору народного чтения есть тоже неверности и нет многого действительного, – так, он не описывает главной причины своего освобождения, – о чем сказано будет ниже. – Вероятно, об этом знают и другие. Сам Шевченко никогда мне этого не рассказывал, а спросить его казалось мне щекотливым.

Г. Сава Ч. говорит, что, по словам поэта, во время путешествия Шевченко с сестрою в лебединский (киевской губернии) монастырь, заронила в его душу идея будущих «Гайдамак».

– Нет! это было не так.

Тогда же (в 1840) мне хотелось узнать больше подробностей о Барской конфедерации. Статья энциклопедического лексикона Плюшара не удовлетворила меня. Часто я говорил об этом с Гребенкою, в присутствии Шевченко, который был в то время еще довольно скромн, и не только ни одного известия не сообщил мне, но не подал даже знака, что ему известно что-нибудь о происшествиях того времени. Я перечитал множество сочинений, в которых надеялся найти хоть что-нибудь об этих делах; наконец мне попался роман Чайковского на польском языке *Węryhoга*, изданный в Париже. Я дал Шевченко прочитать этот роман; содержание «Гайдамак» и большая часть подробностей целиком взяты оттуда.

* * *

Дело о выкупе Шевченко началась совсем не так, как рассказывает г. Сава Ч. и сам Шевченко, который умалчивает о подлинном факте. Это было вот как:

В конце 1837-го, или в начале 1838-го года, какой-то генерал заказал Шевченко свой портрет масляными красками. – Портрет вышел очень хорош и, главное, чрезвычайно похож. Его превосходительство был очень некрасив; художник, в изображении, несколько не польстил. – Это ли, или генералу не хотелось дорого, как ему казалось (хотя он был очень богат), платить за такую отвратительную физиономию, но он отказался взять портрет – Шевченко, закрасивши генеральские атрибуты и украшения, вместо которых навесил на шею полотенце и добавив к этому бритвенные принадлежности, отдал портрет в цирюльню для вывески. Его превосходительство узнал себя – и вот возгорелся генеральский гнев, который надобно было утолить, во что бы ни стало... Узнавши кто был Шевченко, генерал приступил к Энгельгардту, бывшему тогда в Петербурге, с предложением – купить у него крестьянина. Пока они торговались. Шевченко узнал об этом и, воображая, что может ожидать его, бросился к Брюллову, умоляя – спасти его. Брюллов сообщил об этом В. А. Жуковскому, а тот Императрице Александре Федоровне. – Энгельгардту дано было знать, чтоб он приостановился с продажей Шевченко.

В неперменное условие исполнения ходатайства за Шевченко Императрица требовала

от Брюллова окончания портрета Жуковского, давно уже Брюлловым обещанного и даже начатого, но заброшенного, как это очень часто бывало с Брюлловым. Портрет вскоре был окончен и разыгран в лотерею между высокими лицами Императорской фамилии. – Энгельгардту внесены были деньги за Шевченко.

Нужны ли тут какие-нибудь комментарии?...

Как же Шевченко, впоследствии, отблагодарил Императрицу за этот великодушный поступок!!!. Недаром теперь и друзья его скрыли подлинный факт и виновников откупа Шевченко...

Я сказал, что с изданием Кобзаря у Тараса завелись денежки, и он начал кутить. Я, сколько мог, старался воздерживать его от этой разгульной жизни, предчувствуя, что ею он убьет свой талант и, может быть, наживет себе еще беду.

Предчувствия мои, к сожалению, оправдались; но в то время Шевченко рассердился на меня за это до того, что бывши потом в наших местах, не захотел даже побывать у меня и я нигде с ним не встречался. Живописью занимался он здесь мало; но много написал стихотворений, к сожалению, в духе возмутительном, которые, как я предвидел, довели его до несчастья.

Недаром говорит пословица: с хама не будет пана.

* * *

Не могу, при этом не рассказать анекдота о Z., который утверждает, как сказано в «Основе», что Шевченко был отправлен в Пб. по этапам.

Когда Шевченко содержался в Киеве под арестом, там проживал в то время и Z., бывший с ним в большой дружбе. Генерал-губернатор (Бибииков) потребовал Z. к себе.

– Вы знакомы с Шевченко, – спросил он? – Знакомы, Ваше Высокопревосходительство, отвечал Z. – Какие у вас с ним отношения? – А що ж, В. В., які наші отношения!... Чи по правде прикажете говорить? – Конечно, если я вас спрашиваю, то вы должны отвечать самую истину.

– Що ж, В. В., негде деться, треба казать правду... Тільки вже В. В., простить! я знаю, що воно так не слідує, – се противозаконно, – та що ж робить!... Як приїхав я здому, то привіз, простіть В. В., привіз, кажу, барильце сливянки, та барильце вишневки; а квартира моя и Шевченкова, були оттак собі поруч, – та мы було й носимся з барильцями, од мене до його, а од його до мене, поки аж випили уже; а як випили, то всі одношення перестали: нічого було носити, В. В. – Прощайте г. Z.!

Это как говорится по нашему: пошить у дурни.

Несмотря, однако же, на это, полиция стерегла выезд Z. из Киева, – и когда Z. собрался домой, то ему предшествовал секретно полицейский чиновник, с жандармом, который и приехал в хутор Сороку прежде хозяина и дома встретил его, предъявив предписание – осмотреть его бумаги. – Сількось, – як зволите, – отвечал Z.

Чиновник перерыл все и не нашел ничего подозрительного. Оставался один шкаф, запертый двумя замками – внутренним и висящим.

– Отоприте-ка этот шкаф, – сказал чиновник. – Э ні! звиняйте – сього вже не буде! – Как не будет? Вы должны показать все, отоприте сей час! – ей же Богу, не одчиню, – Слушайте, если не хотите открыть добровольно, то я прикажу сбить замки. – Батечку, голубчику! не займайте оцей шкафи, – помилуйте. Бога ради! – Но несмотря на все мольбы Z., жандарм сломал замки.

– Ой лишенько! пропав же я теперь на віки, – закричал в слезах Z.

Шкаф открыт. На полках стоят, выстроившись рядами, как солдаты, сулии, бутылки, бутылки, штофы, и вся армия была поставлена в прежнем порядке.

– Что вы боялись и плакали – спросил чиновник, – тут ничего нет. – Як ничего нет. Тут мои детки; як же мені не боятися за їх, та не плакать, коли я думав, що вы их позабираете.

* * *

Шевченко был принят в Малороссии очень хорошо в лучших наших аристократических домах, – отчего же такая ненависть к панству?

Мені невесело було
І в нашій славній Україні!
Ніхто любив мене вітав
І я тулився ні до кого, —
Блукав собі, молився Богу,
Та люте панство проклинав.

Говорит он в одном стихотворении. – Чем же это панство люте? – Шевченко, более других северных пролетариев, которые так много пишут и до сих пор о притеснениях крестьян помещиками, мог видеть хорошее положение этих крестьян, никогда ни в чем не нуждавшихся у хорошего владельца. Исключения, конечно, были, – но они были редки, по крайней мере, в Малороссии.

1863 г., Апрель.

«Вестник Юго-Западной и Западной России», Киев, 1863, т. 4

Стукач-самовольщик против доносчика-законника (Из воспоминаний Ф. М. Лазаревского о Шевченко)

По конфирмации Государя Императора, состоявшейся в конце мая 1847 года, Т. Г. Шевченко, в сопровождении фельдъегеря Видлера, отправлен на почтовых в ссылку в Оренбург, отстоящий от Петербурга на 2110 верст, и через семь дней, в 11 часов ночи, доставлен на место назначения, делая по 300 верст в сутки. Там его зачислили в пятый Оренбургский линейный батальон во вторую роту, занимавшую гарнизон в Орском укреплении. К этому времени и относится первоначальное знакомство с Шевченко покойного Федора Матвеевича, который с 1846 года служил в Оренбургской пограничной комиссии, а старший брат его Михаил Матвеевич, впоследствии душевный друг и душеприказчик поэта, находился в Троицке, в 200 верстах от Оренбурга в должности попечителя прилинейных киргизов. Эти два брата – земляки, насколько от них зависело, и облегчили горькую участь нашего изгнанника... (М. Чалый).

* * *

В некоторых провинциальных кружках долго и упорно продолжали циркулировать нелепые рассказы о том, будто бы Шевченко в Орской крепости испил горькую чашу солдатского житья. Будто бы он изобразил себя стоящим под палками, с руками, вскинутыми на голову, с надписью: «От, як бачите!» А Н. М. Белозерский в «Киевской Старине» уверяет, что он видел у Лизогуба портрет Шевченко, с подписью: «Оттак тобі». Стоит Тарас в мундире, а унтер колотит его тесаком... «Вероятно, замечает глубокомысленно автор этой нелепой выдумки, рисунок и надпись были стерты при прохождении через цензуру крепостного начальства». Трудно объяснить происхождение этой небылицы.

Подобный же нелепый рассказ случилось слышать мне от какого-то господина, вовсе мне незнакомого, который повествовал, что когда он служил в Оренбургском батальоне вместе с Шевченко, то однажды он пришел к нему избитый тесаком, в слезах попросил бумажку и тут же нарисовал себя стоящим под палками и надписал: «От, як бачите!».

Терпеливо выслушав рассказ, я спросил рассказчика:

– А в каком году это было?

– В 1851-м.

– А как фамилия командира того батальона, в котором вы изволили служить?

И он назвал какую-то вымышленную фамилию. Тогда я публично назвал его лгуном, и он не посмел даже оправдываться.

Могу уверить всех, кому дорога истина, что Тарас Григорьевич с благодарностью вспоминал всегда о своих начальниках в Орской крепости, что ни о каких палках и фухтелях не было там и помину, что никакого цензора для его писем и рисунков там не существовало, и если *de jure* и считалась какая-нибудь цензура, то у него было довольно благоприятелей, при содействии которых письма его могли всегда избегать ее. Александрийский, по тогдашнему моему служебному положению и по доверию, каким я пользовался у генерала Ладыженского, с великою готовностью исполнял все мои просьбы, но и помимо моего влияния, он очень любил Тараса. Кроме того, от всяческих взысканий и строгостей батальонного начальства Кобзаря хранило доброе расположение бравого казака Матвеева, который при каждой встрече со мной обыкновенно обращался ко мне с вопросом: «А что ваш Шевченко? Пожалуйста, – прибавлял он, понизив голос, – если что не так, заходите ко мне и скажите».

Повторяю: совместимы ли при таком положении Шевченко палки и тесак унтера?

* * *

Во весь 1849 г., я, по делам службы, подолгу оставался в киргизских степях. Вернувшись однажды из командировки глубокой осенью, я застал в своей квартире Шевченко и моряка Пospelова, с которым поэт более года провел в Аральской экспедиции. Тарас, Пospelов, Левицкий и я зажили, что называется душа в душу: ни у одного из нас не было своего, все было общее; а с Тарасом у нас даже одежда была общая, так как в это время он почти никогда не носил солдатской шинели. Летом он ходил в парусиновой паре, а зимой в черном сюртуке и драповом пальто. Иногда заходил к нам и Бутаков, чаще же других гостил К. И. Герн. Матвеев также не чуждался нашего общества. Вечера наши проходили незаметно. Пили чай, ужинали, пели песни. Тарас с моряком Пospelовым иногда прохаживались по чарочкам. Изредка устраивались вечера с дамами, причем неизменной подругой Тарасовой была татарка Забаржада, замечательной красоты. А. И. Бутакову очень понравились наши вечера, но, стесняясь своего подчиненного Пospelова, он у нас не засиживался. Однажды Алексей Иванович просил устроить в его квартире подобный нашему вечер, только без Пospelова. Был назначен день, но как на зло в этот именно день Бутаков был приглашен на вечер к Обручеву. Тем не менее, мы собрались у него и ожидали его к ужину. К трем часам вернулся хозяин. Тарас собственноручно зажарил превосходный бифштекс, и мы пропировали до свиту.

* * *

В мое отсутствие Шевченко сблизился с поляками, которых в николаевское царствование в Оренбурге была целая колония. Они очень ухаживали за Тарасом, что подчас сильно тяготило его, хотя по наружности он с ними был на дружеской ноге...

Раз приходит ко мне Тарас и предлагает свой портрет.

– Возьми ты у мене, Христа ради, оцей портрет, хотилось бы, щоб вин зостався у добрых руках, а то поганци ляхи выманять ёго у мене. Усе пристають, щоб я им оддав.

– Де ж ты, – пытаюсь, – малював его?

– Та у их же й малював.

Портрет, по желанию поляков, долженствовал изобразить Шевченко сидящим в каземате Орской крепости за решеткой, но такой обстановки на рисунке не оказалось.

* * *

Вообще говоря, в короткий период своего житья-бытья в Оренбурге Тарас Григорьевич был обставлен превосходно. Образ жизни его ничем не отличался от жизни всякого свободного человека. Он только числился солдатом, не неся никаких обязанностей службы. Его, что называется, носили на руках. У него была масса знакомых, дороживших его обществом, не только в средних классах, но и в высших сферах оренбургского населения: он бывал в доме генерал-губернатора, рисовал портрет его жены и других высокопоставленных лиц.

* * *

В 1849 году прибыл в Оренбург на службу только что выпущенный из какого-то кадетского корпуса смазливенький прапорщик Исаев. Не прошло и полгода, как по городу стали ходить слухи о том, что сей юный Адонис приглянулся супруге N. N. (Карла Герна, штабного офицера Оренбургского корпуса – прим. О. Б.). Слухи эти приводили Тараса в исступление.

– Докажу ж я этой к...! Не дам я ей безнаказанно позорить честное имя почтенного человека, – кипятился он, заходя ко мне.

– Не твое, – говорю, – дело мешаться в семейные дразги. Помни, Тарасе, что ты солдат, а Исаев, хоть и плюгавенький, да офицер, и если через тебя что-нибудь откроется, то ты думаешь – N. N. подякуе тебе? Есть вещи, про которые лучше не знать.

Но Тарас мой не унимался. Он начал следить за женой N. N. и каждый вечер приносил мне все новые известия о своих наблюдениях и открытиях. В пятницу на страстной неделе он прибежал ко мне с торжествующей физиономией.

– Накрыв! Доказав! N. N. со двора, а он в форточку, а я следом за N. N., вернув его додому да прямо в спальню...

– Дурень же ты, дурень, Тарасе! Наробив ты соби лыха. Знай же, що се тебе не минеться даром: маленькая душонка Исаева отдаст тебе!..

На следующий день, в страстную субботу Тарас был дома, а я получил официальное приглашение пожаловать к генерал-губернатору в таком-то часу разговеться. Спрашиваю Тараса, как тут быть?

– Ты соби як знаєш, а я пойду в гости. В сумерки ко мне прибежал Герн, страшно озабоченный, взволнованный.

– Где Тарас? – спрашивает меня торопливо.

– Поехал, – говорю, – в гости.

– Ради Бога, поскорей зовите его в квартиру. Жгите там все, что сколько-нибудь может повредить ему: на него Обручеву подан донос. Уже сделано распоряжение произвести в его квартире обыск.

Я бросился к знакомым, забрал Тараса и помчался с ним на Слободку. Он был совершенно покоен и даже подшучивал над собой. Приехали. Вывалил он мне целый ворох бумаг и несколько портретов: начатый портрет жены Герна и его самого.

– Ну, що ж тут палыть? – обратился он ко мне. – Я, хотя и знал содержание чуть ли не всех писем к нему, но стал их пересматривать. Все они, по моему мнению, были самого невинного свойства.

– И я тебе пытаю, – отвечал я вопросом на его вопрос, – що палыть?

– Палы уси письма кн. Репниной.

И все драгоценные для Тараса послания Варвары Николаевны, конечно, самые невинные, брошены в камин. Туда же полетели и еще некоторые бумаги, по выбору самого Тараса.

Пытливо прочел я письма брата Василия, свои письма, письма Левицкого, Александрийского и др., но ровно ничего, по-моему, в них не было недозволенного, а тем более преступного, но Тарас командовал: «Палы!».

– Но послухай же, мий голубе: як мы все спалим, то догадаються, що нас предупредили об обыске, да и стануть искать вынутаго. А не будет ли в таком разе в ответе Карл Иванович?

– И то правда, – согласился Тарас. – буде! Пойдем до тебе, та там що-небудь спалим.

Когда мы въезжали в город, то в Сакмарских воротах повстречали плац-адъютанта Мартынова, полицмейстера и еще какого-то военного. Мы догадались, что они едут в Слободку. Не смыкаячи очей провели мы эту ночь, но обыска у меня не было. Рано утром, прямо от Обручева приехал к нам после разговин Александрийский и рассказал все, что там происходило:

– На меня, – говорил он, – внезапно накинулся Обручев: «А-а, так мы отвечаем пушками на вопли порабощенного народа о свободе! (Цитата из письма Александрийского к Ш-ку о бунте киргизов в 1848 г.) На обахту! На белое, черное, синее море (поговорка Обручева). А Лазаревский здесь? А-а, в переписке с преступником: «Милый, любимый мий», а? На обахту! (Здесь Обручев смешал меня с братом Василием).

В то же время всех присутствующих поразило необыкновенное внимание Обручева к прапорщику Исаеву. Несколько раз подходил он к нему, брал под руку, подводил к столу, любезно припрашивал: «Разговляйтесь, любезнейший, разговляйтесь». Тогда всем стало ясно, кто был этот любезнейший предатель.

Значит, еще до рассвета часть взятых при обыске бумаг уже успели разобрать и доложить генерал-губернатору заодно с радостным благовестием о воскресении распятого за нас Спасителя!..

В тот же день ко мне заезжали и другие знакомые и передавали, что Обручев высказывался перед своими приближенными об Исаеве в таких выражениях: «Мерзавец! Подлец! Но... что будешь делать? Я уверен, что этот негодяй и на меня послал донос. А в Петербурге я никого не имею за плечами, я, как Шевченко, человек маленький»...

Обручев не ошибся: на него полетел другой донос шефу жандармов. В тот же день Шевченко потребовали в ордонанс-гаус и посадили на обахту впредь до особого распоряжения, а 12-го мая отправили в Орскую крепость этапным порядком со строжайшим предписанием командиру 5 батальона следить за ним. Вскоре после высылки Шевченко уволен был и сам Обручев...

К счастью для бедного Тараса, в Петербурге не признали нужным входить в глубь вещей и свели все обвинение к тому, что он нарушил высочайшее запрещение писать и рисовать и ходил иногда в партикулярном платье. Просидев в Орском каземате более месяца, по приговору военного суда, Шевченко был отправлен в Новопетровское укрепление и зачислен там рядовым в 1-й Уральский батальон в 4-ю роту.

«Киевская Старина», 1899, №2

Как Тарас выпил две бутылки водки и как его «хоронили» (На Сырдарье у ротного командира)

В начале декабря 1883 года, но пути из Ташкента в Оренбург, мне довелось пробыть около четырех суток в г. Казалинске и там, неожиданно, познакомиться с бывшим ротным командиром покойного Тараса Гр. Шевченко, Егором Тимофеевичем Косаревым.

* * *

Всех нас, гостей, собралось человек пять, – все, кроме меня, давние туркестанцы. Беседа наша, сразу же принявшая самый непринужденный, искренний характер и вращавшаяся сначала, как говорится, на «злобах дня» и на настоящем нашей среднеазиатской окраины, перешла затем к разговорам о ее былом.

* * *

– А скажите, Егор Тимофеевич, – вот, вы видали и знавали здесь столько лиц, ну, а Шевченко вы не знавали?

– Это – Тараса то Григорьевич? – Как не знать, помилуйте! – да, ведь, он у меня же, в Ново-Петровском в роте был...

Из пятерых нас, собеседующих, будто бы нарочно, четверо оказалось украинских уроженцев, а потому понятно, с каким единодушием обратились мы, после этого заявления нашего почтенного Амфитриона, с просьбой рассказать, что он знает и помнит про нашего «Кобзаря».

* * *

– С 1852 г. Шевченко стал все больше и больше вхож в наше маленькое общество, которое так, наконец, полюбило его, что без него не устраивалось, бывало, уже ничего, – были то обед или ужин по какому либо случаю, любительский спектакль, поездка на охоту, простое какое либо сборище холостяков, или певческий хор.

Хор этот устраивали офицеры, и Шевченко, обладавший хорошим и чистым тенором и знавший много чудесных украинских песен, был постоянным участником этого хора, который, право же, очень и очень недурно певал и русские, и украинские песни, а по праздникам так и в церкви, на клиросе.

Про обеды да ужины, которые, случалось, оканчивались иногда и попойками, в которых участвовал и Тарас, любивший, к сожалению, иногда таки выпить, или как он сам говаривал: «убить с горя муху», говорить не стоит: были они, как и все подобные обеды и ужины! Ну, а про те спектакли, в которых он принимал самое деятельное участие, как актер и декоратор, нельзя не вспомнить, – тем более, что без него, при всем увлечении и старании, с какими разучивали и играли свои роли прочие актеры-любители, вряд ли эта затея наша возбудила бы тот восторг, с каким встретила ее наша ново-петровская публика, которую всякий раз буквально битком наполнялась казарма, где шли спектакли.

На первых двух спектаклях оба раза шла комедия Островского: «Свои люди, – сочтемся!» повторенная по общему и единогласному желанию всей публики. В комедии этой, кроме роли Рисположенского, которую взял на себя Шевченко, все роли, даже женские, играть в которых наши дамы не пожелали, исполнялись офицерами... Играл в ней, – смех, ей-Богу, вспоминать! – и я роль Подхалюзина, в костюме же которого в антрактах, сходил еще и в оркестр, чтобы играть на скрипке, без которой тот обойтись не мог; ну, да, ведь, по пословице: «охоту тешить – не беду платить!»...

– Так как, надо вам сказать, – генеральной репетиции у нас не было, а на репетициях Шевченко никогда настояще не играл, то мы, понятно, и не знали, какой то выйдет из него Рисположенский? Но когда, на первом представлении, он появился на сцене за костюмированный да начал уже играть, так не только публика, но даже мы, актеры, пришли в изумление и восторг!... Ну, – поверите ли? – точно он преобразился?! ну, ничего в нем не осталось Тарасовского: ярыга, чистая ярыга того времени, – и по виду, и по голосу, и по хваткам!...

После первого спектакля, бывший тогда комендантом нашим, превосходный и умница человек, подполковник Маевский, – вечная ему память! – устроил для нас, актеров, и других офицеров и их семейств ужин, а затем танцы, продолжавшиеся до рассвета. – Так, вот, после этого ужина Маевский подошел к Шевченко, чокнулся с ним и правду сказал: «Богато тебя, Тарас Григорьевич, оделил Бог: и поэт-то ты, и живописец, и скульптор да еще, как оказывается, и актер... Жаль, голубчик мой, одного, – что не оделил он тебя счастьем!... – Ну, да Бог же не без милости, а казак не без счастья!»...

Третий спектакль заключался в двух водевилях, иггранных уже одними нижними чинами, которые, право же, весьма недурно исполнили свои роли. Шевченко, по мысли

которого и устроился этот спектакль, которого он был и душой, сам однако в нем не играл, но зато разутешил публику таким неожиданным сюрпризом, что она от восторга чуть не спятила с ума! – Во время антракта вдруг поднимается занавес; музыка начинает играть плясовой малороссийский мотив, а на сцене появляются Тарас, переодетый в малоросса, и молодой прапорщик Б., переодетый в малороссиянку, да как «ушкварять» украинского трепака, так просто отдай все, да и мало! – От криков *bis* да аплодисментов едва казарма не развалилась: ей-Богу!... Надивил тогда Тарас нас всех своим искусством в пляске! – Потом, как узнали за ним и этот секрет, то по вечеринкам частенько таки упрашивали его проплясать своего трепака, и когда он бывал в духе или немножко, как говорится, – «под шофе», то бывало, и плясывал, и певал...

– А Тарас-то частенько бывал «под шофе», как вы говорите, Егор Тимофеевич?...

– Ну!... часто не часто, а бывал таки. Да «под шофе», это что! – пустяки: тогда одни только песни, пляски, остроумные рассказы. – А вот худо, когда, бывало, он хватит уже через край. А и это, хотя, правда, редко, а случалось с ним последние, этак года два, три... – Раз, знаете, летом выхожу я часа в три ночи вздохнуть свежего воздуха. Только вдруг слышу пение. – Надел я шашку, взял с собою дежурного, да и пошел по направлению к офицерскому флигелю, откуда неслись голоса. – И что же, вы думаете, вижу? Четверо несут на плечах дверь, снятую с петель, на которой лежат два человека, покрытые шинелью, а остальные идут по сторонам и поют: «Святый Боже. Святый крепкий!» – точно хоронят кого. – «Что это вы, гг., делаете?» – спрашиваю их. – «Да, вот, говорят, гулянка у нас была, на которой двое наших, Тарас да поручик Б., легли костьми, – ну, вот, мы их и разносим по домам»... – Само собою разумеется, на другой день всех их, рабов божьих, и тех, кто хоронил, и тех, кого хоронили, кого посадили на гауптвахту, кого нарядили на дежурство... А то другой раз поехали мы как-то большой компанией на охоту, на Лбище. Это будет верстах, этак, в 15-ти от крепости, на крутом берегу, откуда открываются великолепные виды на Каспий и на острова Каменный и Куломинский и где, бывало, кишмя-кишат дупеля, куропатки, рябчики, утки. Взяли, разумеется, с собою и Тараса, который, – как теперь вижу его! – был еще тогда одет в равендучном пальто, а на голове имел тростниковую шляпу с широкими полями, им же самим сплетенную на Мангишлаке. Всею охотой заправлял комендант, страстный и хороший охотник.

– Ну-с, приехали мы часа в 4 утра к развалинам какой-то старинной туркменской крепостцы; приказали здесь повару готовить нам обед; поверили по комендантским свои часы и разошлись в разные стороны охотиться, условившись к 12 ч. дня собраться к обеду. – Шевченко пошел однако не на охоту, которой вообще не любил, а на берег, неподалеку от крепостцы, чтобы рисовать морские виды. – К условленному часу собрались мы. Обед был уже готов.

– «А ну-ка, гг., – говорит комендант, – теперь можно кажется выпить и по чарочке!... подай ка, – говорит казаку, – водку-то!» – Приносит тот четыре бутылки, в которых была порученная ему водка, но только три из них уже совсем пустые, а в четвертой, много-много, на доньшке рюмки с две, а сам, разумеется, и лыка не вяжет. – «А где же однако Шевченко, гг.?» – вспомнил кто-то из охотников. – Пошли искать его и находят на берегу: портфель с набросанным рисунком лежит подле, а сам он непробудно спит. – Оказалось, что он с козаком выпили четыре бутылки водки!... Смеху тут и шуткам не было конца; но мне, знаете ли, было и больно, и досадно за него: ну, пусть бы еще козак-то, простой, – необразованный человек... а он-то?!... Так, знаете, на арбе, в бесчувственном состоянии, привезли его в крепость. На другой день, сгоряча, я нарядил его не в очередь в караул. – Суток трое после того не говорил даже с ним; ну, а затем, призываю его к себе: – «Бога, – говорю, – ты не боишься, Тарас Григорьевич! Хотя бы малость себя же поберег! – Ведь, пред тобой еще целая жизнь!»

– Да на что мне эта жизнь? говорит, – кому она нужна?!... со свету бы поскорей!...

Ну-с, вот, таким то манером жили мы поживали да про крымскую войну читали, как, вдруг, точно гром с неба! – получаем известие о смерти Императора Николая Павловича.

Пригорюнились таки мы все при этом, а очень, очень многие таки и сплакнули-с... ну, а потом, мало-по-малу, ободрились: новый царь, новые, значит, милости! Ободрился при этом и наш Тарас. Но проходит год, проходит коронация, получается и манифест, а про Тараса, как говорится, ни гугу! Запечалился он тогда, бедняга, так запечалился, что иногда, верите ли, я побаивался, как бы он и руку на себя не наложил?! Вот, в эту-то пору он и стал особенно попивать горькую; а до того когда-когда, разве уже в компании!... Часто в эту пору я и уговаривал, и утешал его, что «Бог де не без милости», так только, бывало, махнет рукой да скажет: «для всех, да только, видно, не для меня!»

По поздней осени 1856 г. отправился я в отпуск, в Уральск; женился там, а по весне 1857 г. опять вернулся в Ново-Петровск, где застал Тараса в добром здоровье и как будто немножечко ставшего подобрей. Получил он, изволите видеть, несколько писем от разных друзей и от какой-то даже графини, которые утешали его надеждою на скорый возврат до дому. Он сам мне и показывал эти письма...

Тут опять произошла смена рот: 4-ю отправили в Уральск, а мне велели принять прибывшую на ее место, 2-ю, куда я и перевел Шевченко, чего и он да и я сам хотел, чтобы уже, знаете, не расставаться нам. Так и прожили мы с ним до августа, когда, не помню уже какого числа, вдруг получается распоряжение: отправить рядового Шевченко в г. Уральск, а оттуда уволить со службы, возвратив в первобытное состояние. О радости его при этом не стану уже и говорить. Радовались за него многие, а уж особенно я, хотя мне было и очень грустно с ним расставаться: ведь, столько лет прожили вместе, делили столько горя и радости... да и хороший, сердечный, даровитый человек был Тарас, хотя, как верно заметил Маевский, судьба и оделила его всем, кроме счастья!... Крепко-крепко обнялся я на прощанье с Тарасом, провожая его в путь и усаживая на почтовую лодку, на которой он отправился в Уральск. Больше мы уже с ним, вечная ему память! не встречались.

«Киевская старина», 1889, №3

Сто пельменей (Воспоминания Н. И. Усковой о Т. Г. Шевченко)

Наталья Ираклиевна Ускова с вдохновенным Кобзарем провела лишь первые годы своего детства и самолично немного удержала в памяти о событиях того счастливого, по ее заявлению, времени, когда Тарас Григорьевич был для нее другом – няней; но постоянно повторяемые рассказы и воспоминания ее родителей, которые прожили с Шевченко в Новопетровском укреплении последние пять лет его ссылки до самого его освобождения, много дополнили сведения, касающиеся той жизни поэта.

* * *

Отец Натальи Ираклиевны Ираклий Александрович Усков до 1853 года служил в Оренбурге, состоя адъютантом при главном начальнике Оренбургского края гр. В. А. Перовском. В 1853 году он был назначен комендантом Новопетровского укрепления и, прибыв туда, нашел Т. Г. Шевченко, в качестве рядового, в жалком положении: ближайшие начальники обращались с ним слишком строго²⁶.

* * *

Новопетровское укрепление, где поэт провел последние семь лет своей изгнаннической жизни, ныне уже упраздненное, во время его там пребывания, представляло собой небольшой укрепленный пункт с девятью или десятью орудиями и было расположено на

²⁶ Это не отвечает действительности. Предшественник Ускова подполковник Маевский тоже благоволил к Тарасу, что видно из публикуемых выше воспоминаний ротного командира Шевченко – капитана Косарева.

обрывистой известковой скале западной оконечности полуострова Мангишлак, верстах в трех от берега Каспийского моря. Небольшая каменная церковь, комендантский дом, караульный дом, госпиталь и несколько каменных флигелей для помещения нижних чинов и офицеров – вот все, что находилось в крепости и было окрашено в желтый казенный цвет. Около крепости, под горой, несколько армянских лавок, а кругом голая степь и ни признака растительности.

В год прибытия коменданта Ускова, именно осенью 1853 года, были посажены первые вербы, в расстоянии около версты от укрепления, на местности более для того пригодной, и после многих и долгих усилий, с помощью чернозема и деревьев, привезенных из Астрахани, удалось устроить сад, некоторые деревья которого ко времени отъезда Шевченко давали уже значительную тень. В саду был построен небольшой одноэтажный в две комнаты дом с плоской крышей, где в летнее время помещалась семья коменданта, и две деревянные беседки, из которых одна, шестигранной формы, с тремя небольшими окнами и конической крышей, а другая ажурная с плоской крышей; первая служила для ночлега Тараса Григорьевича, а вторая для дневного отдыха в те дни, которые он проводил в саду.

Первое облегчение ссыльной жизни Шевченко выразилось тем, что комендант Усков, со вступлением своим в должность, не требовал уже от него несения солдатской службы со всею строгостью, которую налагала на рядового военная дисциплина, допустив появление его в строю лишь в самых необходимых случаях, когда манкирование службой могло повлечь за собой неприятности.

Жил Тарас Григорьевич не в казармах, как было до сих пор, а с кем-нибудь из офицеров в зимнее время, а летом в комендантском саду; очередных дежурств и караульной службы не нес, нанимая, когда приходила такая очередь, за себя какого-нибудь рядового. Обедал в семье Ускова зимою и летом ежедневно, за исключением лишь тех дней, когда чувствовал не в меру выпитую рюмку вина: в этих случаях Тарас Григорьевич обедал у знакомых офицеров или являлся в комендантскую кухню, где, войдя в дипломатические сношения с поваром, по секрету что-нибудь съедал и уходил незаметно. Таким образом, отсутствие Шевченко в доме коменданта в обеденное время обыкновенно обозначало, что он выпил лишнее и не является к столу, чтобы не вызвать со стороны Ускова и его жены обычных в этих случаях назиданий.

Суровый, неприветливый, с мешковатой походкой, Шевченко производил первое впечатление неблагоприятное, но, по мере дальнейшего с ним знакомства, каждый незаметно привязывался к нему и в Новопетровском укреплении мало было людей, которые относились к нему недоброжелательно. Однако же были и такие люди. Некоторых офицеров, по их неразвитости, весьма шокировало пребывание рядового Шевченко в их обществе в доме коменданта, как гостя; им не нравилось явное предпочтение, оказываемое ему, и допускаемые Усковым облегчения, которые выражались и тем, что Тарасу Григорьевичу не препятствовали писать и рисовать, а даже помогали ему в том. Все это приводило в негодование недоброжелателей поэта, вооружало их против коменданта и дало повод еще к одному доносу генерал-губернатору Перовскому. Впрочем, донос этот графом принят не был. Подробности этого дела изложены в воспоминаниях И. С. Тургенева о Шевченко.

В Новопетровском укреплении Тарас Григорьевич был душою общества. Редкий пикник, редкая прогулка совершались без его участия и в часы хорошего расположения духа не было конца его шуткам и остроумию. При поездках новопетровского общества на гулянья он обыкновенно садился в экипаж с провизией и брал на свою ответственность охранение бутылки с водкой, однако привозил ее на место прогулки далеко не полную; а потому собутыльники предложили ему выбирать место подальше от бутылок.

* * *

Не избегал Тарас Григорьевич и дамского общества, которое также иногда не прочь было подтрунить над ним. Так, однажды было решено сделать пельмени, – любимое блюдо поэта, – так как он заспорил, уверяя дам, что съест их целую сотню. Барыни, сговорясь

между собой, изготовили пельмени, по возможности, покрупнее и, чтобы затруднить еду, выиграть пари, несколько из них начинили одной горчицей или одним перцем. Но Шевченко, к удивлению многолюдного участвовавшего в завтраке общества, не поморщившись, один из другим уничтожил целое блюдо.

* * *

Случалось, что Тарас Григорьевич появлялся в доме коменданта с покрасневшим носом, тогда малютка Ната заботливо ходила за дядей Горичем с баночкой спармацетной мази, упрасывая его помазать нос, так как, по ее детскому убеждению, никакого другого целебного средства не существовало.

Непривыкшая видеть дядю Горича курящим, она однажды была поражена, увидя его вечером с дымящейся сигарой в зубах, и когда он пытался поймать ее, чтоб поцеловать, со страхом убежала, боясь быть обожженной. Летом, после обеда, он часто усаживался на каменную скамью террасы комендантского дома и как только девочка приближалась к нему, Тарас Григорьевич, со словами: «сейчас пушу ракету!» быстро проводил раковинкой по камню и заставлял ее поспешно убежать, добродушно смеясь ее страху.

* * *

Находя в семействе Ускова постоянно самый радушный, сердечный прием и теплое участие, Тарас Григорьевич отвечал на то полной преданностью. Однако с Усковым у него случались и размолвки. Жена коменданта и сам Ираклий Александрович находили нужным удерживать Шевченко от его слабости и это обстоятельство иногда бывало поводом некоторого недоразумения, что впрочем скоро забывалось. За исключением размолвок, о которых только что сказано, между Шевченко и Усковым существовали самые лучшие отношения.

«Киевская старина», 1889, №2

**Шевченко жил,
Шевченко жив,
Шевченко будет жить!
Но в анекдотах от Бузины...**

Один день Тараса Григорьевича

Больше всего на царской службе Тараса Григорьевича донимало то, что нельзя ходить в кожаной обуви и шапке. Конечно, мучила еще и казахская жара. Но не так. Потому что он знал, что через сто лет это место, где он сейчас мучается, назовут фортом Шевченко.

Впрочем, он все знал. Он был пророк. Пророк национальной идеи. От этого было немного скучновато. Противно ведь все знать о будущем. Например, то, что на обед будет горох, а фельдфебель Вишняк («жалкий прислужник царского режима») станет журить за нечищенные сапоги: «Эх, Шевченко, Шевченко, тебе б только стишки кропать...» Еще противней было знать, что в 2000 году в украинской армии на обед тоже будет горох, а сапог не будет совсем.

Из задумчивости Тараса Григорьевича вывел окрик ротного писаря Скрыдлова: «Шевченко! Ты что, забыл, что сегодня царские именины? А ну, живо писать лозунг «Слава самодержавию!»

Втайне Кобзарю очень хотелось написать «Слава Украине!» (точно такой же, как сейчас висит на львовском вокзале), но пришлось смириться – потому что тогда его отправили бы на

гауптвахту, а так освободили от строевой.

За писанием приходили в голову разные умные мысли. «А ведь Гомер тоже из украинцев, – подумал Тарас Григорьевич. – Слепой, как наши кобзари, и с этой бандурой древнегреческой – лирой. Таскался в Афины на заработки – петь на улицах. И имя его наше, исконное. Гомер... Гомер... Точно! Хома! Вот выберусь из этой дыры – сделаю доклад для Лондонского королевского общества!»

К тому времени, как был закончен лозунг, Шевченко знал также, что египетские пирамиды, Иисуса Христа, тампаксы, спички, заглушки на водопроводных кранах, утюги, слона, рентгеновский аппарат и гепатит «Б» придумали тоже украинцы. Вообще, надо заметить, гениальный мозг Тараса Григорьевича продуцировал идеи с поразительной быстротой. Если бы лозунг нужно было писать на пять секунд дольше, он успел бы еще изобрести теорию относительности и непромокаемый плащ, но поток сознания прервал вопль писаря Скрыдлова: «Ты что, до вечера будешь копать? Нас уже пять раз спрашивали их благородие прапорщик Дудкин!»

Сдав работу, Шевченко вышел на опустевший плац. Оставалось только перекусить, да нарисовать пару-тройку голых барышень для дембельских альбомов, о чем его давно просили сослуживцы.

За фортом закатывалось белое солнце пустыни. В углу переругивались два солдата из ссыльных польских повстанцев:

– Если бы ты, Скшетусский, тогда ударил москалям во фланг, не сидели б мы тут, как цуцки на привязи!

– Молчи, пся крев, ты пропилил отцовский фольварк и фураж для легкой кавалерии! «От дурни», – подумал Шевченко.

* * *

Ночью ему пришли в голову гениальные стихи: «Садок вышневый коло хаты. Хрущи над вышнямы гудуть». От этого Шевченко даже проснулся и вскочил на постели. «Ностальгия», – промелькнуло в голове. На соседней койке храпел фельдфебель Вишняк и яростно портил воздух лучший ротный запевала Хрущев из-под Тамбова.

«Блин, – удивился Шевченко, – из какого только дерьма стихи получаются». Он уже знал, что через сто лет Анна Андреевна Ахматова напишет: «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда».

«Плагиаторша», – подумал Шевченко, и натянул казенное одеяло.

Как Шевченко Лесю Украинку к Ивану Франко ревновал

Решил как-то Тарас Григорьевич зайти в Киевский университет – проверить, как идет украинизация. А там его уже депутация профессоров встречает.

– Чим займається, панове?

– Разрешите доложить, Тарас Григорьевич! Вот этот самый университет, который раньше назывался именем св. Владимира, теперь – имени Шевченко!

– Це добре, – говорит Шевченко. – Я святіший за Володимира!

– А напротив университета стояла статуя Николая I – теперь тут стоите вы, Тарас Григорьевич!

– І це добре!

– И сквер уже не Николаевский, а Шевченковский!

– Дуже добре!

– И бульвар возле сквера не Бибиковский, а ваш! И оперный театр рядом тоже имени Шевченко! И над входом ваш бюст торчит!

– А опера там про мене вже йде?

– Срочно переделывают из «Нюрнбергских мастерзингеров» Вагнера!

- І як буде називатися?
- «Миргородские кобзари»!

Видит Тарас Григорьевич – хорошо идут дела. Не к чему и придраться. Стал у окна и смотрит на Шевченковский сквер и на статую Шевченко.

А Ивана Франко с Лесей Украинкой взяла обида, что им досталось в Киеве только по театрику, и потому они решили пойти в Шевченковский сквер целоваться – чтобы все видели, что и украинская интеллигенция кое-что смыслит в свободной любви. Сидят, целуются – по неопытности громко чмокают. Леся Украинка даже говорит.

- Як гарно! Просто пісня!
- Лісова! – добавляет Франко.
- Куди краще, ніж наодинці читати під ковдрою усяку заборонену літературу!
- Ще б пак!

Шевченко смотрел на это, смотрел. И так ему грустно стало – аж расплакаться захотелось. «Везет же людям, – думает, – целуются и горя не знают, а я стой тут, как дурак – исполняй гражданский долг. Ну его к бесу – пойду позвоню Пушкину. Пусть берет Ахматову и поедет в Париж стаканы бить – чтобы не думали, что только Есенин с Айседорой Дункан гулять умеют».

Вскоре в парижских газетах в рубрике «Уголовная хроника» появилась заметка. «Новые русские опять бьют стаканы на Монпарнасе». Это дало повод Ивану Драчу, известному поэту и патриоту, возмущаться в кулуарах парламента. «Знову ці неосвічені європейці не можуть нас відрізнити від тих москалів». Поэтому после вмешательства украинского МИДа парижские газеты дали опровержение. «Двое новых русских и один старый украинец опять бьют стаканы на Монпарнасе».

Почему Шевченко не мог унизиться до антисемитизма

Шевченко и Пушкин решили выпить. Но выпив, никак не могли решить, что делать дальше. Шевченко, только что написавший поэму «Кавказ», предлагал поехать побороться за национальную идею в Чечню. Пушкин же склонялся отправиться выполнять интернациональный долг в Эфиопию. В конце концов оба решили вернуться в кафе «Эней²⁷» и накатить еще по сто «Украинской с перцем» и по двести пятьдесят «Посольской» московского завода «Кристалл».

Проходивший мимо известный поэт и патриот Иван Драч укоризненно посмотрел на «рenegатов» и прошептал: «Безродные космополиты»... После чего надел фрак и отправился в Стокгольм получать Нобелевскую премию.

* * *

Шевченко и Пушкин очень любили играть в карты. Но им был нужен третий, и они пригласили сыграть партию Ивана Драча. Но Иван Драч, уже бывший когда-то в КПСС, очень боялся слова «партия» и отказался. Он не хотел, чтобы его, как и Шевченко с Пушкиным, считали «рenegатом». В отличие от них, ему была дорога его писательская репутация.

* * *

Шевченко очень нравилась Анна Андреевна Ахматова. Особенно нравилось, что ее имя,

²⁷ Кафе «Эней» – общепитовская точка, принадлежащая Союзу писателей Украины. Отовариваться по себестоимости в ней имеют право только члены СПУ. Поэтому Пушкин, захаживая сюда во время своих наездов в Киев, всегда очень обижался. И даже пытался доказать, что он тоже писатель. Но ему отказывали по причине отсутствия документа. Вступить же в СПУ у него не было никакой возможности из-за «имперских» взглядов. И даже заступничество его друга Тараса Григорьевича ничем не могло помочь несчастному петербургскому литератору.

фамилия и отчество начинаются на букву «А». Выросшему в провинции начинающему стихотворцу это казалось литературным изыском. Однако вся эта история жутко будоражила светский Петербург. Вернувшийся из Африки муж Ахматовой, поэт Гумилев, мог вызвать Шевченко на дуэль и пристрелить, как гиппопотама. Кроме того, Ахматова не скрывала, что ей очень нравится Борис Пастернак.

Шевченко знал об этом, но как истинный демократ не мог себе позволить унизиться до антисемитизма. И даже хлопотал в Союзе писателей Украины, чтобы Пастернаку выдали внеочередную Шевченковскую премию.

И только Иван Драч равнодушно относился в этой истории. Он как патриот знал, что не имеет права на личную жизнь. Его невестой была Украина.

* * *

Когда на Всемирном писательском форуме Ивана Драча спросили, почему среди украинских писателей нет Нобелевских лауреатов, он подумал и ответил. «Зате ми гарно святкуємо письменницькі ювілеї». За остроумный ответ Ивана Драча и выдвинули кандидатом на Нобелевскую премию. Однако премию почему-то получил Борис Пастернак. В Союзе писателей Украины этому очень обрадовались – коллеги Драча, как и Шевченко, не могли себе позволить унизиться до антисемитизма.

Наконец-то!.. (Вместо послесловия)

Такая книга со всей неизбежностью когда-нибудь должна была появиться. Мы ее долго ждали, а процесс ожидания явно затягивался. И этому есть свои причины – неготовность общества к восприятию подобных книг. Я не говорю: «к созданию», ибо создатели, люди, наделенные неординарным мышлением, время от времени рождались в серой человеческой массе. Они явно опережали свое время, может быть, даже не подозревая, что то, о чем они говорят, когда-то станет элементарной, обыденной вещью человеческого бытия. А пока они были обречены на гонения или физическое уничтожение и, осознавая это, не всегда решались вступать в бой. Брало верх отсутствие мужества или низменный расчет. Ведь жизнь – самое дорогое в этом мире.

И не будем их ругать. В конце концов, всему свое время. И оно наступило, подтверждением чему – книга, которую вы держите в руках.

О чем она? О Тарасе Шевченко. А разве мало о нем написано? Огромное количество, особенно в советское время, отмечено Ленинскими и другими премиями. Этот поток продолжает увеличиваться и в «незалежной» Украине. Шевченко одинаково любим и большевиками, и антибольшевиками. И те и другие пытаются сделать его своим идеологом, кумиром, истуканом, божеством – часто прибегая к насилию, начиная с детского возраста.

Но все в этом мире имеет свой неотвратимый конец, изрядно перед этим надоев и приевшись. Так случилось и с Шевченко. Если раньше на Шевченковские дни народ толпами собирался вокруг его памятника напротив Киевского университета, то сейчас там сходятся полторы калеки, да начальство во главе с ректором по долгу службы «покладає вінок». А где же студенты?

«Если будете нас насильно гнать к памятнику, то видели мы в гробу и вас, и вашего Шевченко», – заявляют они некоторым особенно ретивым преподавателям, по старой привычке берущим на себя функции не существующих парткомов и комитетов комсомола.

Появление книги Олеса Бузины – книги, направленной на развенчание культа Шевченко, снятие его (не хочу употреблять слово «свержение» – мы уже насвергались!) с пьедестала божка и возвращение на нормальный человеческий уровень, знаменует собой определенный этап в сфере личной свободы, реализуемой в свободе мнения и свободе слова.

Существование же идолов подавляет их, парализуя мышление в отдельно взятой голове. А, как известно, истины и великие открытия возникают только там.

Как же возникают идолы? На биологическом уровне человеческое общество представляет собой звериную стаю во главе с вожаком. Другие модели, к сожалению, бесследно исчезали, не выдержав испытания жизнью, ибо знаменитое высказывание Наполеона: «Стая баранов во главе со львом может победить стаю львов во главе с бараном» остается непреложной истиной и в наши дни.

Вот такие вожаки (фараоны, ханы, императоры, носители определенного учения, политические деятели) при определенных обстоятельствах и превращались в идолов. Иногда при жизни. А иногда после нее. Наиболее устойчивыми в этом отношении оказались Ближний Восток, Центральная и Юго-Восточная Азия, Африка, а также некоторые «райские» острова Океании, где вождя готовы признать живым богом уже за то, что он больше всех сожрал своих ближних. Мы, славяне, увязшие между Востоком и Западом, не избежали этой участи, особенно – в большевистские времена, когда наряду с идолопоклонничеством перед ликом очередного «вождя всех времен и народов» или «нашего дорогого Никиты Сергеевича» был утвержден и культ Кобзаря.

И только Европа, совершив в XVIII веке, справедливо названном «Эпохой Просвещения», прорыв в сторону критического отношения к политическому мифу, отказалась от наиболее древней и примитивной формы существования человечества. Стаю впервые заменило общество, основанное не на слепом поклонении вожаку, а на уважении каждого свободного гражданина к другому – не менее свободному. В этом смысле книга Олесь Бузины вписывается в литературную традицию, заложенную еще Вольтером в знаменитой «Орлеанской девственнице», высмеивавшей официальный французский миф о Жанне д'Арк.

Российская литература отважилась вступить на эту тропу культурного приключения только в XX веке. Сначала в лице Владимира Набокова, опрокинувшего в знаменитой четвертой главе романа «Дар» народнический миф о Чернышевском, а потом – Андрея Синявского с его ироническими «Прогулками с Пушкиным» и Юрия Карабчиевского – автора не менее скандального в 80-е годы «Воскрешения Маяковского». Теперь к ним присоединилась и Украина.

Кто же такой Шевченко? Жутко закомплексованный маленький человек, всю жизнь страдавший из-за своих эротических неудач, страхов, беспомощности и низкого происхождения. Отсюда его неспособность к компромиссам; самоиронии, сглаживающей несовершенство бытия, и паталогическая ненависть к дворянству, к «панам», несмотря на то, что именно они вывели его в люди.

Нет, бей их, режь, круши, топчи! Остри топор, буди волю! Эти призывы радостно подхватывали революционные фантасты, мечтающие снести существующий строй и дорваться до власти. Но парадокс заключается в том, что через какое-то время и их будут валить с помощью тех же шевченковских лозунгов.

В повседневной же жизни, как это убедительно доказывает, опираясь на факты, Олесь Бузина, Тарас был далеко не подарок – точь в точь как многие другие «гении». Недаром одна из его «невест» боялась, что он закрепостит ее хуже пана. Поэтому евангельская рекомендация «не сотвори себе кумира» в нашем случае актуальна, как никогда. Там, где она реализуется, действительно ощущается присутствие свободы. Вот вам пример.

Когда я работал преподавателем во французском университете «Paris-8», у меня на лекциях часто возникали такие сюжеты. Скажем, заходила речь о Наполеоне.

– О, Наполеон – это великий человек! – говорит один студент.

– Наполеон – это идиот. Из-за него во Франции резко уменьшилось количество мужского населения, а те, что остались, были маленького роста. Мы и сейчас это ощущаем, – возражает другой.

И все это – в спокойном тоне, без ругани, оскорблений и вызовов в суд, когда полемисты остаются друзьями, несмотря на разность взглядов. То же самое с позиций рго и

contra можно было услышать о де Голле, Мопассане, Гюго или Дюма.

Думалось: когда же мы выйдем на этот уровень, перестанем выть про «долю» и «воріженьків», и подвергнем беспощадному анализу наших допотопных динозавренных идолов.

И первый шаг на этом пути – книга Олеся Бузины. Наконец-то!

Александр БЕЛОДЕД, доктор филологических наук, профессор, академик Академии Наук Высшей Школы Украины